



Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- [Н. А. Белоголовый](#)
 -
 - [Предисловие](#)
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)
 - [Глава VI](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
-

Н. А. Белоголовый
Сергей Боткин. Его жизнь и врачебная
деятельность

*Биографический очерк доктора Н. А. Белоголового
С портретом Боткина, гравированным в
Петербурге К. Адтом*



Предисловие

С. П. Боткин принадлежит к числу самых блестящих деятелей русской науки XIX века. Его заслуги в области русской медицины так обширны, значение их так велико, что они не могут быть вполне оценены в настоящее время, и только будущему веку, когда наше национальное самосознание станет более спокойным и более трезвым, предстоит исполнить этот долг с надлежащим беспристрастием и хладнокровием. Теперь же, когда мы находимся под слишком свежим впечатлением от его смерти, когда громадное обаяние его личности еще слишком живо продолжает воздействовать на всех близко его знавших, писать его биографию несколько преждевременно, потому что трудно сохранить необходимый для биографа бесстрастный и объективный тон. Приступая по предложению издателя «Биографической библиотеки» к составлению биографии С. П. Боткина, мы ясно понимаем трудность этой задачи и чистосердечно сознаемся, что дать полное понятие о гениальной личности Боткина мы не могли бы и не сумели; единственное наше желание, – чтобы читатель из нашего бледного очерка почерпнул хотя бы некоторое представление о необыкновенных свойствах этого человека, заключавшихся в редком сочетании выдающейся талантливости с феноменальной преданностью труду и безграничной любовью к избранной им науке не столько, пожалуй, в кабинетной ее разработке, сколько в прямом приложении ее к жизни, к служению человечеству. Этому служению Боткин отдал целиком не только все свои способности и всю свою жизнь, отдыхая лишь по крайней необходимости, но, как видно будет после, он, без преувеличения, «за други положил живот свой». Это был альтруист, альтруист не идейный, а непосредственный вследствие необыкновенного любящего характера своего и гуманизма самой науки, которой он был представителем, а главное, альтруист неутомимо деятельный в силу своей небывалой трудоспособности. Для молодых поколений жизнь Боткина поучительна еще и тем, что, будучи вся отдана на благо других, на облегчение чужих страданий, она служила для него самого источником полного нравственного удовлетворения и самых чистых наслаждений, так что и умирая он не переставал повторять, что нет большего счастья на земле, как этот непрерывный и самоотверженный труд на пользу ближних, а самым веским подтверждением искренности его слов может быть приведено то, что из пяти оставшихся после него сыновей трое, по его совету, избрали

для себя медицинскую карьеру.

Трудность составления биографии Боткина для нас лично усугублялась еще и тем, что писать ее приходилось за границей, вдали от всяких живых и мертвых источников, столь необходимых для подробной и всесторонней характеристики описываемого лица. Вот почему настоящий очерк цельной характеристики Боткина не дает, а, скорее, знакомит с теми биографическими данными, которые находились в нашем распоряжении и послужат хорошей канвой для будущих, более объективных биографов. А данных этих было немало, потому что меня соединяла с Боткиным более чем сорокалетняя дружба, никогда не омрачавшаяся ни недоразумениями, ни размолвками и не допускавшая никаких больших тайн между нами: мы вместе в один день поступили в пансион Эннеса, вместе перешли в университет и одновременно закончили университетский курс; после того дороги наши разошлись, потом снова сходились и снова расходились; он всю жизнь свою провел в Петербурге, я же как кочевой человек – то в Сибири, то в Петербурге, то за границей; но наша связь никогда не прерывалась и поддерживалась постоянной перепиской. По счастью, большая часть писем Боткина у меня сохранилась и они-то помогли мне при отсутствии всяких других пособий восстановить более или менее полно и точно всю жизнь его. Наконец обстоятельства сложились так, что привели меня в 1889 году в Ментону, где происходила последняя борьба этого сильного организма со смертью, – и на моих глазах он умер.

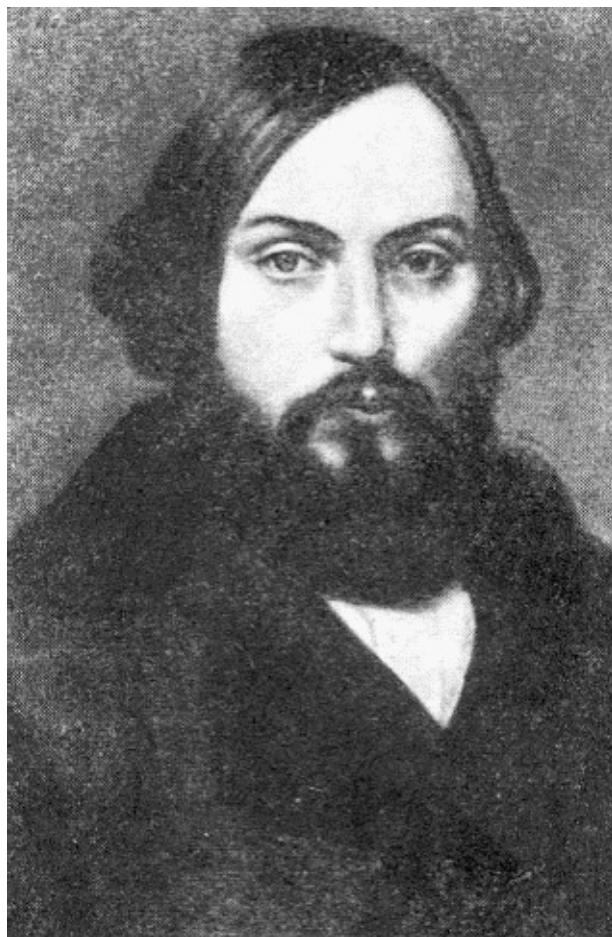


Москва.1825 год. Вид с Воробьёвых гор. Художник С. Кадель.

Глава I

Сведения о семье Боткина. – Его воспитание в пансионе Эннеса в Москве. – Поступление в Московский университет и пребывание в нем. – Студенты и профессора того времени и тогдашний дух преподавания на медицинском факультете

С. П. Боткин происходил из чистокровной великорусской семьи без малейшей примеси иноземной крови и тем самым служил блестящим доказательством, что если к даровитости славянского племени присоединяются обширные и солидные познания вместе с любовью к настойчивому труду, то племя это способно породить самых передовых деятелей в области общеевропейской науки и мысли.



Василий Петрович Боткин. 30-е годы 19 века.



Михаил Петрович Боткин

Генеалогия Боткина – самая немудреная и теряется в серой крестьянской среде: прадед или дед его был крестьянином Псковской губернии, переселившимся в Москву и занявшимся торговлей. Но уже отец Боткина, Петр Кононович, был зажиточным московским купцом, имел обширные торговые дела и сумел сделаться одним из видных организаторов и представителей чайной торговли в Кяхте. Это само по себе показывает, что он был человеком деятельным и незаурядным, но еще лучшим доказательством его врожденного ума может служить то обстоятельство, что все его потомство, очень многочисленное, как сейчас увидим, отличалось более или менее недюжинными способностями. Боткин-отец был женат два раза и от обоих браков оставил после себя в живых девять сыновей и пять дочерей. Старший из сыновей – известный в литературе и в истории русского просвещения Василий Петрович Боткин – замечателен сам по себе как редкий пример самородной даровитости,

потому что без такой даровитости трудно объяснить, под влиянием каких условий этот сын московского торговца чаем, предназначенный для торговли за прилавком, не прошедший через ту или другую высшую школу обучения, так образовал и развил себя, что, не достигнув еще и 30-летнего возраста, является одним из деятельных членов того небольшого кружка передовых наших мыслителей и литераторов, к которому принадлежали Белинский, Грановский, Герцен, Станкевич, Огарев и другие, и пользуется в этой блестящей плеяде репутацией одного из лучших истолкователей Гегеля, увлекавшего в то время эти молодые, искавшие света умы. Его собственные литературные труды, и особенно «Письма об Испании», снискали ему в публике заслуженный успех и, помимо его гегельянства, создали ему большую известность как знатоку классических произведений по всем отраслям искусств и как человеку, обладавшему тонким эстетическим вкусом. Остальные братья если и не завоевали себе такой громкой известности, как Сергей и Василий, однако считались людьми умными и более или менее выделялись своим образованием и развитием над уровнем среднего столичного общества; при этом всех братьев объединяли самая искренняя дружба и замечательное единодушие, несмотря на то, что сферы деятельности их были самыми разнообразными. Вследствие этого семья Боткиных являлась в Москве ярким оазисом, в котором всякий интеллигент, заезжий или москвич, всегда чувствовал себя особенно приятно и тепло, всегда находил умную беседу и живой отклик на все вопросы современности не только русской, но и европейской, и редкий из тогдашних корифеев литературы не побывал в доме Боткиных, где, между прочим, на нижнем этаже проживал последние годы своей жизни профессор Грановский, находившийся тоже в близких отношениях с хозяевами; связь семьи Боткиных с ученым и литературным миром еще более упрочилась, когда одна из дочерей Петра Кононовича вышла замуж за поэта Фета, а другая – за московского профессора Пикулина.



Петр Кононович Боткин. 20-е годы 19 века. Русский художник.

Здесь-то, в этом доме на Маросейке, в Петровериговском переулке, в доме, принадлежащем ныне одному из братьев, П. П. Боткину, и повидавшем на своем веку чуть ли не всех лучших наших деятелей 30– и 40-х годов, протекли детство и юность Сергея. Родился он 5 сентября 1832 года от второго брака отца с А. И. Постниковой и был в семье по счету одиннадцатым ребенком. Петр Кононович в период детства младших детей был уже в преклонных летах, к тому же постепенное расширение торговых дел поглощало все его внимание, а потому все заботы о воспитании их легли на старшего сына Василия. В руках этого последнего, как человека, высоко почитавшего образование, оно неизбежно должно было стать более солидным и разносторонним, чем того требовали понятия тогдашнего московского купечества. Одним из домашних учителей Сергея был А. Ф. Мерчинский, в то время студент-математик Московского университета, а теперь 70-летний старец, доживающий свой век в окрестностях Дрездена, человек очень умный и живой, к которому Боткин до самой смерти питал теплую и искреннюю дружбу. Уже в этом раннем возрасте С. П. Боткин обнаружил прекрасные способности и большую любовь к учению, и Василию Петровичу удалось уговорить отца отдать его полупансионером в находившийся тут же поблизости от дома частный пансион Эннеса, куда он и поступил в августе 1847 года.



Анна Ивановна Боткина. К. А. Горбунов. Акварель. 1834.

Пансион этот считался тогда лучшим в Москве и вполне оправдывал свою репутацию прекрасной постановкой преподавания, чего Эннес достигал умелой вербовкой учителей среди молодых кандидатов, только что кончивших курс в Московском университете. Достаточно сказать, что во время пребывания Боткина в пансионе преподавателями в нем были такие талантливые учителя, как известный собиратель древнерусских преданий и народных сказок А. Н. Афанасьев, дававший уроки русского языка и русской истории, не менее известный впоследствии профессор политической экономии И. К. Бабст, занимавшийся в пансионе уроками всеобщей истории, а математику преподавал Ю. К. Давидов, занявший вскоре кафедру математики в Московском университете. В описываемое время все это были молодые люди, не заеденные рутинной, с юношескою горячностью относившиеся к преподаванию, а потому легко зажигающие страсть к своим предметам в сердцах тех учеников, в которых таилась искра Божия. Преподавание языков тоже велось такими опытными учеными лингвистами, какими были Клин, Фелькель и Шор, состоявшие одновременно лекторами иностранных языков и в университете. Боткин много обязан пансиону своим прекрасным знанием языков: так, между

прочим, не сделавшись «классиком» теперешней формации, он за три года своего пансионского образования усвоил латинский язык настолько хорошо, что мог отлично отвечать тогдашним требованиям к поступающим в университет. Но не одним знанием языков обязан он этой школе; здесь все способствовало тому, чтобы страсть его к сознательному учению не остыла, а пустила, напротив, новые и здоровые корни и его природные дарования развернулись бы без всяких помех в полной своей силе. Сам он в эту пору своего возраста был коренастым мальчиком с совершенно льняными волосами и отличался большой физической силой, за что пользовался особенным почетом среди товарищей; единственным его недостатком было слабое зрение, слабое до того, что он, читая, должен был держать книгу у самого носа, на расстоянии двух-трех дюймов от глаз, и очень рано должен был прибегнуть к очкам; в 60-х годах, когда наука открыла неправильную кривизну роговой оболочки глаз как одну из причин врожденной слабости зрения, оказалось, что Боткин страдал именно этой аномалией. Несмотря на такой тяжелый недостаток, он был чрезвычайно прилежен и считался одним из лучших учеников; в воспитательном же отношении пансион не мог оказывать на него значительного влияния, так как Боткин не жил в нем, а приходил только на классные уроки, но для воспитания его трудно было и желать более подходящей и счастливой обстановки, чем та, какую ему давала домашняя жизнь, всегда деятельная, трудолюбивая и поощрявшая к умственным занятиям.

Из уроков его больше всего привлекала математика, которая в прекрасном изложении Давидова наиболее соответствовала логическому складу его ума, искавшего уже и тогда в приобретаемых знаниях наибольшей точности и ясности, и любимой его мечтой было посвятить всю жизнь своим занятиям этой наукой. Но судьба решила за него иначе, и когда после трехлетнего пребывания в пансионе Боткин приготовился держать вступительный экзамен в университет, то уже вошло в силу известное постановление императора Николая, имевшее в виду ограничить до минимума число лиц с высшим образованием и по которому в университете был открыт свободный доступ лишь на медицинский факультет, на прочие же факультеты разрешалось принимать только лучших воспитанников казенных гимназий... Вследствие такого ограничения произошло много горьких юношеских разочарований и сломанных, сбитых с пути существований, но относительно Боткина следует только радоваться, что его постигло это «провиденциальное» искажение предположенной им для себя ученой будущности и что он сделался врачом поневоле, *médecin malgré lui*; нет сомнения, что и в

математике он прославил бы свое имя и обогатил бы его своею яркой даровитостью, но еще более несомненно то, что в области кабинетной науки он не встретил бы возможности развернуть те гуманные и многообразные практические стороны своего характера, которыми так щедро наградила его природа и которые во врачебной деятельности более чем в какой-либо другой находят самое обширное, повседневное приложение.

Боткин попал в студенты в августе 1850 года, а сдавать выпускные экзамены начал в марте 1855-го, то есть несколько дней спустя после кончины императора Николая. Попечителем Московского университета в эту эпоху был генерал В. И. Назимов, помощником его – В. Н. Муравьев; но с этими двумя административными лицами студенты имели мало соприкосновения; ближайшим же их начальником был инспектор. Почти во время студенчества Боткина место это занимал И. А. Шпейер, бывший морской офицер; он сменил столь памятного в легендах Московского университета П. С. Нахимова, оригинального, но весьма доброго человека, об отеческих отношениях которого к учащейся молодежи долго сохранялась самая теплая и благодарная память среди студентов, особенно казенных, живших в самом здании университета и находившихся поэтому в более тесном общении с инспекцией. Шпейер был назначен, чтобы подтянуть студентов, и весь отдался этой задаче; при нем сугубо внешняя формалистика господствовала во всех мелочах и малейшее нарушение ее каралось весьма строго: так, преследовались длинные волосы, плохо выбритый подбородок, а одним из самых тяжких преступлений считалось выйти на улицу не в треугольной шляпе, а в студенческой фуражке, ношение которой в черте города было строжайше запрещено. Между прочим, и Боткину в первый месяц его студенчества пришлось испытать на себе тяжесть дисциплины Шпейера и, столкнувшись с ним во дворе университета, отсидеть целые сутки в карцере за незастегнутые крючки у вицмундирного воротника. Все проступки студентов того времени ограничивались таким несоблюдением внешней формы да нарушением общественного благочиния: курением на улице, появлением в публичном месте в пьяном виде и т. п. Студенты-медики, составлявшие более двух третей числа всех студентов, только в меньшинстве занимались прилежно своим делом, большинство же целый день проводили в трактирах за бильярдной игрой и тратили свой юношеский пыл на безобразные попойки, бывшие тогда в несравненно большем распространении между ними, чем нынче; особенно славились своими кутежами казенные студенты, которые, живя вместе в общежитии, составляли более

компактную массу и легче поддавались стихийному увлечению; следствием этих вспышек нередко случались скандальные истории и столкновения или с университетской инспекцией, или с полицией, которые заканчивались высылкой в карцере, а иногда и исключением из университета. Политических брожений среди молодежи в описываемые годы не было никаких. Напомним, в литературе тогда только что стали появляться произведения Тургенева, Гончарова, Григоровича, Дружинина и других писателей зарождавшегося блестящего периода русской словесности, что в Москве 40 лет назад не было даже ежедневной политической газеты, а только три раза в неделю выходили «Московские ведомости». Общения с Западом не существовало почти вовсе, ни прямого, потому что путешествия по Европе были обставлены большими затруднениями, ни при посредстве западной литературы, ибо и те немногие иностранные книги, которые пропускались цензурой, недоступны были студентам частью из-за своей стоимости, частью из-за плохого знания большинством чужих языков; переводная же литература находилась в самом зачаточном виде. Понятно поэтому, что политический и общественный горизонт так называемой «образованной» молодежи был очень ограничен.

Студент Боткин был истинное дитя воспитывавшей его эпохи и, несмотря на то, что в пору своего студенчества находился в гораздо более счастливых условиях, чем его товарищи, вращаясь в кругу брата Василия, Грановского и других первых представителей тогдашней литературы и прогресса, мог служить поразительным примером полного равнодушия и безучастия ко всему, что не касалось его семейного и личного существования и не имело прямой связи с его медицинскими занятиями. Но зато этим последним он отдался со всей страстью своей даровитой природы и вскоре сделался на своем курсе лучшим студентом, счастливо соединяя в себе блестящие способности с замечательным трудолюбием и необыкновенной жаждой знания. Нельзя сказать, чтобы медицинский факультет университета стоял тогда на такой высоте, чтобы вполне удовлетворять запросам юноши и научным требованиям своей эпохи; однако благодаря тому обстоятельству, что в числе профессоров находилось несколько талантливых и преданных науке преподавателей, Боткин обязан университету тем, что он взрастил и укрепил в нем любовь к медицине и помог заложить в себе такой прочный фундамент элементарных занятий, который дал ему возможность впоследствии самообучаться и развиваться дальше. Сам Боткин в речи, произнесенной в обществе русских врачей по поводу 25-летия профессорской деятельности профессора Вирхова и напечатанной в № 31 «Еженедельной клинической газеты» за 1881 год, дал

следующую оценку преподавания медицины в Московском университете его времени: «Учившись в... университете с 1850-го по 1855-й год, я был свидетелем тогдашнего направления целой медицинской школы. Большая часть наших профессоров училась в Германии и более или менее талантливо передавала нам приобретенное ими знание; мы прилежно их слушали и по окончании курса считали себя готовыми врачами с готовыми ответами на каждый вопрос, представляющийся в практической жизни. Нет сомнения, что при таком направлении мыслей среди оканчивающих курс трудно было ждать будущих исследователей. Будущность наша уничтожалась нашей школой, которая, преподнося нам знание в форме катехизисных истин, не возбуждала в нас той пытливости, которая обуславливает дальнейшее развитие».



Сергей Петрович Боткин. Воспроизведение с дагерротипа. 1853.

Как ни смягчен Боткиным этот отзыв о своем обучении, как ни справедлив его упрек самой школе и ее направлению, однако следует прибавить, что не меньшего упрека заслуживает и научный подбор

большинства тогдашних преподавателей. Таким преподаванием подрывалось существенное назначение университетов: вселять в молодых слушателей, кроме образовательных целей, уважение и доверие к науке как к главному прогрессирующему и предназначенному развиваться бесконечно элементу человеческой жизни. Большая часть профессоров относилась к своему преподаванию как к отбыванию чиновничьей повинности без малейшей любви к излагаемому предмету, более или менее аккуратно являлась на лекции и читала их по своим запискам, составленным ими лет 10–15 назад, не пополняя их позднейшими открытиями и работами; а так как при этом практических занятий для студентов того времени, кроме анатомических упражнений на трупах клинических осмотров, не полагалось, то не было ни места, ни поводов к более тесному сближению и обмену мыслей между преподавателем и слушателями, и последние были почти исключительно приурочены к изучению этих сухих профессорских тетрадок.

Объем биографии не позволяет нам дольше останавливаться на отрицательных сторонах тогдашнего преподавания, и мы спешим упомянуть о положительных и воздать должную и благодарную память тем профессорам, которые в то неблагоприятное время сумели не профанировать науки и с несокрушаемым рвением заботились о насаждении истинных знаний среди молодежи. Хотя медицинский факультет Московского университета, пользовавшегося тогда репутацией лучшего русского университета, не мог указать в своем составе на таких блестящих преподавателей, какими были на других факультетах Грановский, Кудрявцев, Соловьев, Рулье и другие, но и на нем было несколько таких, преподавание и личное влияние которых имело для Боткина благотворные последствия, укрепив в нем любовь к медицине; между ними самым даровитым и самым популярным среди студентов был Ф. И. Иноземцев, профессор факультетской клиники и оперативной хирургии, а потому о нем следует сказать несколько слов. Иноземцеву было тогда за 50 лет, и, несмотря на расшатанное здоровье, он был еще чрезвычайно жив, энергичен и деятелен, очень требователен и к себе, и к слушателям и, имея огромную частную практику в городе, никогда из-за нее не пропускал своих клинических лекций, что в то время среди клинических преподавателей составляло большую заслугу. В нем, кроме редкой даровитости и любви к науке, были и все другие качества, необходимые для образцового наставника: хорошая школа, обширный запас знаний, тонко выработанная наблюдательность, которую он особенно старался развивать и в студентах. Последние его очень любили, хотя

горячность его нередко доходила до того, что, вспыхнув у постели больного на студента, он топал ногами, кричал на него, осыпая выражениями вроде: «ротозей», «ворона», «вы смотрите в книгу, а видите фигу» и т. п.; но никто на него и не думал обижаться, зная редкую доброту его сердца, его чисто родительскую нежность к студентам и искреннее желание быть им полезным, что он доказывал постоянно и словом, и делом. Студенты высоко ценили Иноземцева и как профессора, несмотря на то, что его взгляды на свойства болезней и их лечение отличались самой странной оригинальностью: он утверждал, что с 40-х годов XIX века характер болезней совершенно изменился, – этот *genius morborum*,^[1] как он выражался, прежде был воспалительным и требовал для борьбы с ним постоянных кровопусканий и «прохлаждающего» метода лечения (соленых, слабительных, селитры и т. п.); но затем, по личным наблюдениям профессора, характер этот быстро заменился преобладанием явлений раздражения узловатой нервной системы, выражавшимся почти исключительно катаром желудка, – и соответственно этой перемене потребовались и совсем другие лекарства. Таким специфическим лекарством в глазах Иноземцева была микстура из нашатыря с рвотным камнем, и она имела такое универсальное применение в клинике, что заготавливалась тут же сиделками в больших количествах, так как все хирургические больные, не исключая и травматиков, тотчас по поступлении в клинику обречены были глотать нашатырную микстуру до операции, или для устранения существующего уже нервного раздражения узловатой системы, или для предотвращения его в послеоперационный период. Теорию свою Иноземцев фанатично проповедовал слушателям и заставлял их всех болезненные явления выводить из нее; молодежь прекрасно изучила этот конек своего профессора и при всей неполноте своего тогдашнего образования подсмеивалась между собой над эксцентричностью теории, но все это не мешало ей считать Иноземцева лучшим своим наставником за другие его выдающиеся качества как преподавателя.

Кроме него, хорошими профессорами признавались: физиолог И. Т. Глебов, излагавший свой предмет талантливо и добросовестно; молодой и вполне научно «свежий» акушер В. И. Кох; а также профессор Н. Э. Лясковский, читавший фармакогнозию и фармацию. И хотя эти последние предметы имеют второстепенное значение в медицине, но сам Лясковский был хороший химик, выделялся среди профессоров симпатичным отношением к молодежи и редкой доступностью, так что студенты часто прибегали к нему за разъяснением различных вопросов, связанных с

весьма неудовлетворительным преподаванием химии.



С. П. Боткин на обходе в клинике. 80-е годы.

Что же касается преподавания внутренних болезней, то клиника 4-го курса находилась в таких руках, что никак не могла содействовать увлечению Боткина этой специальностью; заведовал ею знаменитый московский практик и врач с несомненно большими дарованиями А. И. Овер, но он до того отдался весь частной практике, что его появления в клинике были большой редкостью и сюрпризом; о его даровитости, знаниях и практическом врачебном искусстве студенты знали только по слухам о городской его славе, ибо те шесть – восемь лекций, которые он читал им на своем изящном латинском языке в течение восьмимесячного курса, были слишком случайны и несистематичны, чтобы принести слушателям хотя бы небольшую пользу.

При таком порядке клиника Овера находилась полностью на попечении его адъюнкта К. Я. Млодзеевского, наставника не бойкого, «узкого» и до того отсталого, что он, например, с большим недоверием отзывался о постукивании и выслушивании и избегал применять их при исследовании больных. А если взять еще в расчет, что Млодзеевский же читал студентам диагностику и что профессор частной патологии и теории Н. С. Топоров старался укрепить в своих слушателях убеждение, будто исследование больных посредством постукивания и выслушивания есть чисто шарлатанский прием, выдуманный для пускания пыли в глаза

больному и публике, то можно судить по этому, в какое допотопное время совершалось клиническое образование Боткина и с какими примитивными приемами исследования пришел он к последнему году своей университетской жизни. Но, к его счастью, на 5-м курсе обстоятельства сложились совсем иначе и так благоприятно, что он имел возможность поправить эти существенные недостатки своего университетского учения.

Клиницистом 5-го курса был И. В. Варвинский – хотя и не особенно талантливый, но образованный и знающий профессор; он был переведен в Москву из Дерптского университета и сохранил на себе печать свежести и деловитости немецкой школы; умело владея методами исследования, отдавал должное патологической анатомии и старательно следил за иностранной медицинской литературой. Адъюнктом же при нем состоял

П. Л. Пикулин, еще совсем молодой человек, очень способный и недавно вернувшийся из заграничной поездки, откуда вывез отличную подготовку для клинической деятельности. Пикулин женился вскоре на младшей сестре Боткина и, войдя в семью, сошелся коротко и с ним самим; через него он узнал и убедился сам, насколько плохо подготовленными к элементарному исследованию больных вступали студенты в последний год своего университетского образования, а потому предложил заниматься с ними по вечерам в больнице, – и вот эти-то вечерние занятия оказались особенно драгоценными и назидательными для Боткина и его товарищей. Они впервые познакомили их с истинной и научной диагностикой и пролили свет на темный дотолел отдел болезней легких и сердца; все студенты обзавелись стетоскопами и принялись неутомимо выслушивать и наколачивать до мозолей свои пальцы, так как молотки и плессиметры не были тогда в таком ходу, как теперь; они проверяли друг друга и закидывали молодого профессора вопросами. Талантливых юношей на курсе было немало, но и среди них здесь особенно ярко выделился Боткин своими блестящими способностями; он так легко схватывал объяснения Пикулина и так быстро усваивал себе все тонкие оттенки постукивания и выслушивания, что вскоре сделался первым мастером этого искусства на курсе, и товарищи стали обращаться к нему как к авторитету и третьейскому судье всякий раз для разрешения недоразумений, когда в запутанных случаях возникали между ними над постелью больных диагностические сомнения и споры. Тут же стала вырисовываться и другая характерная черта его – то, что он подобные обращения товарищей к его помощи принимал не только без всякого самолюбия или высокомерия, а, напротив, как большое одолжение для себя лично, потому что его пытливый ум постоянно требовал работы и искал сам таких сложных и хитрых

патологических случаев, над которыми мог бы потрудиться, рассмотреть их со всех сторон и решать, как математические задачи, путем логики и установленных медицинских законов. И он до тех пор не успокаивался, пока ему не удавалось вполне все уяснить себе и товарищам и разрешить сознательно и по всем правилам науки предложенный на его суд спорный вопрос. Вот это-то неуклонное стремление Боткина вместе с его талантливостью и сосредоточенностью в занятиях все понять и все объяснить не только себе, но сделать ясным другим, заставляло уже и тогда наиболее прозорливых товарищей смотреть на 20-летнего студента как на молодого орленка, будто инстинктивно испытывающего свои отрастающие крылья, и по взмаху его тогдашнего полета догадываться, как высоко он будет парить впоследствии.

Глава II

Докторский экзамен; условия его сдачи в то время. – Поездка на театр военных действий. – Пребывание за границей для усовершенствования: Вюрцбург, Берлин, Вена, Париж. – Возвращение в Россию и поступление на кафедру Военно-медицинской академии в Петербурге

С приближением окончания курса Боткин решил держать выпускной экзамен прямо на докторскую степень, что в описываемое время обставлено было почти неодолимыми трудностями. Все наши университеты отличались тогда неумолимой строгостью к тем из студентов, которые заявляли о желании получить звание доктора, минуя лекарскую степень. Такая строгость практиковалась и в Московском университете, но все-таки почти в каждом выпуске находилось несколько даровитых студентов, смело вступавших в борьбу с беспощадным ригоризмом и предубеждением экзаменаторов, и в огромном большинстве они падали жертвами своей геройской попытки; а если какому-нибудь талантливому юноше и удавалось счастливо пройти сквозь длинный строй испытаний, то он неизбежно проваливался на экзамене по физиологии у профессора Глебова. Тут уж ничто не могло помочь: ни блестящие познания, ни слепое счастье, – потому что самому безукоризненному студенту, соискателю докторской степени, Глебов, отказываясь подписать «удовлетворительно», повторял в заключение неизменно одну и ту же фразу почти дословно в таких выражениях: «Вы приготовились прекрасно, отвечали как нельзя лучше, а все-таки пропустить вас я не могу, и вот почему: наука наша одна и та же, и все различие между доктором и лекарем заключается только в количестве и объеме познаний; доктор должен быть гораздо более начитан и более сведущ, чем лекарь, а я по опыту знаю, что как бы способен и прилежен студент ни был, ему только что в пору управиться с основательным знакомством обязательных учебников и лекций и решительно нет времени расширять свои сведения чтением более специальных медицинских сочинений и трактатов».

Бесспорно, точка зрения Глебова на докторский экзамен и по настоящее время не лишена разумности и справедливости и этим затрагивается давно назревший в России, но, по-видимому и к сожалению, еще не близкий к разрешению вопрос, насколько целесообразно и

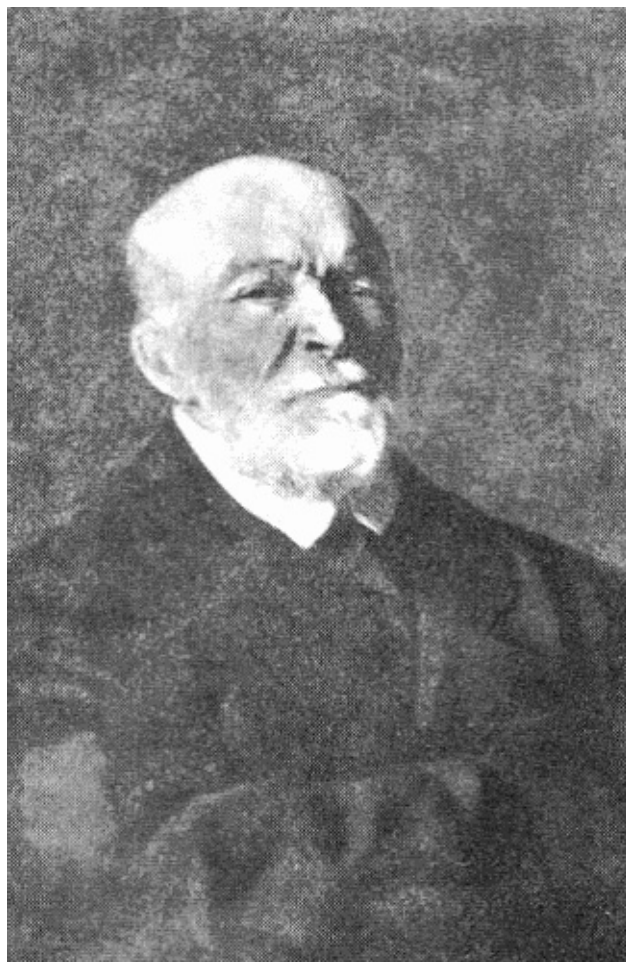
практично сохранять у нас две медицинские степени, докторскую и лекарскую, когда во всей остальной Европе признано совсем ненужным такое разграничение и для приобретающих права врача установлена одна ученая степень—доктора. Если же в России считается необходимым сохранять обе ученые степени, то по крайней мере для получения их должна существовать известная и строго определенная градация в значениях кончающих курс аспирантов; у нас же крайняя требовательность Глебова и других профессоров, построенная теоретически на верном рассуждении, приводила на практике к следующей величайшей несправедливости: тогда как Московский университет, а по его примеру Киевский, Харьковский и Казанский, отказывали в докторском дипломе лучшим и способнейшим студентам, Дерптский университет «пек» докторов, как блины, наводняя ими всю империю, и в его годичных отчетах описываемого времени встречались иногда такие цифры, что из кончивших курс более половины, чуть не две трети выпущены докторами и лишь меньшинство — лекарями. А так как законодательство требовало докторского диплома для замещения старших должностей в военном и гражданском ведомствах, то последствием являлось, что не только высшие должности, но и места старших больничных врачей, инспекторов врачебных управ и т. п. были заняты большей частью бывшими дерптскими студентами; воспитанники же других русских университетов везде были обречены на места субалтернов. Всякий, кому хоть сколько-нибудь известна материальная нужда тогдашних провинциальных врачей, поймет, как угнетало их и нередко деморализовало такое приниженное положение и почти совершенная невозможность выбиться из него, потому что нужны были незаурядная энергия и редкая счастливая случайность, чтобы впоследствии добраться до университетского города и, выдержав докторский экзамен, открыть себе дипломом дорогу к лучшему будущему.

Мы позволили себе потому сделать это небольшое отступление по поводу докторских экзаменов, что случайно созданные ими преимущества в пользу дерптских студентов были главной причиной того антагонизма между русскими и немецкими врачами, о котором нам придется сказать несколько слов позднее. А теперь вернемся к нашему рассказу.

Боткин прошел отлично через все докторские экзамены, и только профессор Глебов, верный своему взгляду, не пропустил его сразу, а попросил любезно явиться для переэкзаменовки после вакации, посоветовав употребить лето на большее знакомство с медицинской литературой. Такой исход экзаменов считался тогда равносильным удаче, поэтому Боткин не был им смущен и действительно в конце августа

благополучно закончил с переэкзаменовкой у Глебова.

Окончание им курса совпало с той порой, когда Крымская война была на исходе; около Севастополя происходили последние кровопролитные схватки и во врачах ощущался большой недостаток. Боткин по сдаче экзаменов принял немедленное решение отправиться на место военных действий, и в этом намерении особенно поддерживал его профессор Грановский, со своим страстным красноречием убеждавший его не мешкать принести посильную помощь раненым, гибнущим от недостатка помощи. Он попал в число врачей того отряда, который вторично снарядила Великая княгиня Елена Павловна в Крым под начальством Н. И. Пирогова, и в сентябре уже уехал в Симферополь, куда после падения Севастополя направлены были главные транспорты больных и раненых. Поездка эта продолжалась около двух месяцев и оставила у Боткина мало добрых воспоминаний; он вблизи увидал, какой страшной неурядицей в госпитальном деле сопровождалась эта великая, самоотверженная борьба русского народа, впервые познакомился с бесчисленными злоупотреблениями и хищениями администрации и убедился, сколько своей драгоценной энергии и сил должен был тратить Пирогов на борьбу с ними в ущерб своим прямым обязанностям, и тратить почти безуспешно.



Николай Иванович Пирогов. И. Е. Репин. Масло. 1881.

Боткин следующими словами вспомнил об этом времени в своей речи по поводу 50-летнего юбилея Пирогова, произнесенной в обществе русских врачей и помещенной в № 20 «Еженедельной клинической газеты» за 1881 год: «...добиться того, чтобы кусок мяса или хлеба, назначенный больному, дошел до него в полной сохранности, не уменьшившись до *minimum'a*, – дело было нелегкое в те времена и в том слое общества, который относился к казенной собственности как к общественному именованному пирогу, предлагаемому на съедение... По распоряжению Пирогова мы принимали на кухне мясо по весу, запечатывали котлы так, чтобы нельзя было вытащить из него объемистого содержимого, – тем не менее, все-таки наш бульон не удавался: находили возможность и при таком надзоре лишать больных их законной порции». С другой стороны, Боткин не придавал

короткому пребыванию в Симферополе никакого значения в своем медицинском развитии; слишком лихорадочная и торопливая работа не давала ему спокойно разобраться во всем виденном и проделанном. В одном она убедила его окончательно: в его личной непригодности к хирургии, для которой требуется более тонкое зрение, чем то, какое у него было, – и он нередко вспоминал потом о своем отчаянии, когда после ампутации он никак не мог разыскать кровоточившие мелкие сосуды, подлежавшие перевязке.

По возвращении в декабре 1855 года в Москву Боткин тотчас же стал обдумывать, что должен с собой делать. Существенные пробелы в своих медицинских познаниях, вынесенных из университета, он сознавал отчетливым образом, а потому нашел нужным прежде всего заняться своим «дообразованием» и отправиться не откладывая с этой целью за границу. По счастью, его стремление на Запад совпало с той мудрой и здоровой эпохой нашего пробуждения, когда и правительство, и общество, убежденные наглядно неудачной войной в пагубном влиянии невежества и отсталости, признали обособленность России от остальной Европы за главную причину своих бедствий и поспешили ее исправить. В числе первых мер царствования императора Александра II было облегчить формальность получения заграничных паспортов и уничтожить высокую плату, какая взималась за них до того, – Боткин был одним из первых, воспользовавшихся этими льготами, и в самом конце 1855 года выехал в Германию. В упомянутой уже выше речи, посвященной Вирхову, он сам говорит о своем выезде таким образом: «Уезжая в 1855 году за границу с целью учиться, я ни от кого не мог получить указаний и советов, где, как и у кого можно было заниматься с пользой в Европе; некоторые говорили даже так: и охота вам ехать, пристроились бы где-нибудь в госпитале и учились бы здесь. Остановившись в первом университетском городе – Кенигсберге, в терапевтической клинике профессора Гирша, я в первый раз услышал от одного молодого ассистента, что Вирхов – профессор патологической анатомии в Вюрцбурге – считается одним из лучших учителей в Германии, что его приглашают в Берлин для поднятия тамошней медицинской школы и что я должен торопиться застать его в Вюрцбурге».

Попав в Вюрцбург, Боткин с жадностью набросился на работу у Вирхова; здесь перед ним открылся совершенно новый мир знаний, то неизвестное ему дотоле плодотворное направление в медицине, одним из ревностных и видных поборников которого он вскоре сделался. До Вирхова научная медицина была догматикой, основанной не на фактах исследования, а на гипотезах и теориях, большею частью чисто

умозрительных, а потому стояла совсем особняком в ряду человеческих знаний. Вирхов же ввел ее в разряд естественноисторических наук, приложив и разработав экспериментальный метод, благодаря которому открылось совершенно новое поле для исследований, оправдавшихся самыми богатыми результатами и в корне преобразивших изучение медицины. В ней до того господствовало так называемое «гуморальное» направление, приписывавшее происхождение болезней изменениям в крови; то было учение о кразах венского профессора Рокитанского – учение совершенно умозрительное и принятое на веру, несостоятельность которого Вирхов так ясно доказал своими гениальными и фактическими трудами, что сам Рокитанский вынужден был признать справедливость их и отказаться от своего учения. Вместо разрушенных гипотез Вирхов создал и сложил в стройное целое учение о клетке, которое легло в основание всей современной науки вообще и патологии в частности.

Боткин в своей речи о Вирхове так, между прочим, охарактеризовал его заслуги: «Патологоанатомические исследования Вирхова, пополнявшиеся опытами над животными и клиническими наблюдениями, оказали особенно важное значение для практической медицины; Вирхов научил целые поколения не ограничиваться одними гипотезами, а путем исследований искать истину... Его окончательные выводы могут измениться, клеточная теория, может быть, заменится новой; но путь исследований, указанный Вирховым, останется надолго открытым – с богатыми плодами в будущем». Главным орудием в деле открытий Вирхова и обновленной им науки являлся микроскоп – инструмент, не находивший в преподавании медицины в Москве никакого применения, так что студенты того времени если и видели его иногда, то издали, и считали за что-то таинственное, кабалистическое. Боткину как вскормленнику старой школы пришлось в Вюрцбурге начинать изучение медицины чуть ли не с азов, со знакомства с микроскопом, с элементарного микроскопического исследования как нормальных тканей человеческого тела, так и патологических изменений в них. «Я должен был много работать, – продолжает он в той же речи, – много учиться, от многого отказаться, чтобы слушать Вирхова и понимать значение его лекций и все богатство их содержания. Привыкши слышать общие катехизисные истины, мы лишены были возможности отличать гипотезу от фактов. Еще менее, конечно, умели ценить отдельные факты и давать им истинное значение».

Боткин понял не только громадное значение нового направления, но и всю цену личного руководства Вирхова, а потому когда последний осенью того же 1856 года занял по приглашению правительства кафедру в Берлине,

то и Боткин вслед за ним перебрался туда же. Здесь, в центре обширного сада, в котором помещались клиники Charite, возникло по мысли и плану Вирхова здание института патологии со всеми необходимыми для занятий приспособлениями – и Боткин стал в нем почти безвыходно проводить целые дни, деля свои занятия между микроскопом и лабораторией, которой заведовал тогда Гоппе-Зейлер, впоследствии весьма известный профессор Страсбургского университета. Кроме того, он аккуратно посещал расположенную в том же саду клинику профессора Траубе, отличающуюся не столько богатством материала, сколько строго научным и всесторонним его изучением благодаря преподавателю. Траубе в ряду славных клиницистов нашего времени занимает бесспорно первое место; он обладал многими из тех драгоценных для клинициста свойств, какие были присущи натуре Боткина. При одинаковой у обоих основательной подготовке в физиологии и мастерском владении методами исследований Траубе тоже поражал своей необыкновенной наблюдательностью и пытливостью ума, помогавшими ему в самом ординарном клиническом больном уловить индивидуальные особенности и разбор его болезни сделать интересным и поучительным не только для студентов, но и для врачей – для последних даже как для лучших и более опытных ценителей всех тонкостей диагностики еще в гораздо большей степени, чем для первых.

У Траубе, как и у Боткина, мысль постоянно работала в одном и том же направлении, не отвлекаясь ничем, выходящим из круга любимой специальности, поэтому оба они были полны множеством возникавших в них еще не разработанных вопросов и обобщений, и, высказывая их мельком перед слушателями, освещали громадные, но отдаленные горизонты науки и намечали будущие пути в них. Почти с каждой лекции обоих можно было вынести что-нибудь свежее, новое, чего не вычитаешь ни в одной книге, – мысль и наблюдение, не сделавшиеся пока общим достоянием науки, а только назревавшие в головах этих учителей. Боткин как слушатель высоко ценил преподавательские достоинства Траубе и после его лекций не мог удовлетвориться ни одним из тогдашних знаменитых клиницистов в Европе: ни Оппольцером, ни Шкодой, ни Труссо, – менее всего стариком Шенлейном, доживавшим тогда свой век в должности другого берлинского клинициста.

Посещая, кроме того, время от времени клиники наиболее известных – невролога Ромберга и сифилидолога Береншпрунга, – Боткин провел два года в Берлине в институте патологии, занимаясь преимущественно у Вирхова на его курсах, не пропуская ни одного производимого им вскрытия. Вскоре он стал в совершенстве владеть микроскопом и

химической техникой и мог приступить к самостоятельным занятиям, результатом которых было появление нескольких его трудов в печати, помещенных в ежемесячном вирховском «Архиве». К этому же периоду относится и первое его печатное сообщение на русском языке, знакомившее с устройством солейлевского поляризаторного аппарата.

Об этой своей берлинской рабочей поре Боткин всю жизнь хранил самые теплые, благодарные воспоминания. Тамошняя жизнь его стала еще полнее и менее одинока, когда в 1857 году приехали в Берлин для занятий И. М. Сеченов, офтальмолог Юнге и покойный хирург Беккерс; они тотчас же составили дружеский кружок, связанный общностью духовной жизни и интересов, и стали неразлучно проводить время, свободное от медицинских занятий. К Сеченову Боткин до самой смерти питал самую трогательную, нежную дружбу. Пользуясь продолжительностью летних вакансий в Берлинском университете, Боткин проводил их в Москве в родной семье и в один из этих приездов, помнится, в 1857 году захворал такими бурными и загадочными припадками, что болезнь была принята за острое воспаление брюшины, и только впоследствии, когда приступы стали повторяться, он убедился, что то была колика желчных камней, – болезнь, которой он страдал до самой смерти и которую изучил на самом себе до мельчайших подробностей, особенно в тех ее замаскированных и отраженных проявлениях, которые нередко служат камнем преткновения для самых опытных практических врачей.



Иван Михайлович Сеченов. И. Е. Репин. Масло. 1859.

В Берлине Боткин оставался до конца 1858 года и в декабре переехал в Вену, где продолжал начатые им гистологические работы, очень усердно посещал лекции физиолога Лудвига, от которых был в восторге, и клинику Оппольцера, поражавшую его своей недостаточной научностью. В Вене же совершился важный акт его личной жизни: он женился на А. А. Крыловой, дочери небогатого московского чиновника, но прекрасно образованной девушке. Отпраздновав свадьбу в Вене, куда невеста приехала с матерью из Москвы, он вскоре выехал оттуда, проделав большое путешествие по средней Германии, познакомившись по дороге с прирейнскими минеральными водами, по Швейцарии, побывав также в Англии, и в конце октября приехал для зимних занятий в Париж.

До сих пор он занимался без всяких помыслов о будущем и,

увлекаемый самой бескорыстной любовью к науке, расширял свои знания, нимало не заботясь о том, где и как он будет их применять; но теперь, с одной стороны, он сам начинал сознавать, что поучился достаточно и пора приниматься за практическое приложение этих знаний, а с другой стороны, женитьба и вскоре рождение ребенка вынуждали подумывать о будущем, тем более что небольшой капитал, завещанный ему отцом, начинал истощаться. Но тут весьма кстати подоспело приглашение на профессию из Петербурга. С восшествием на престол императора Александра II обновление русской жизни, коснувшееся всех ее сторон, коснулось и высших школ, в том числе и Петербургской медико-хирургической академии. В 1857 году президентом ее вместо Пеликана был назначен профессор П. А. Дубовицкий; он горячо принялся за внутренние преобразования, пригласив к себе в помощники в звании вице-президента московского физиолога Глебова, о котором говорилось выше, и сообщая с ним решил для подъема преподавания дополнить состав профессоров молодыми силами, представившими доказательства своей научной подготовленности и талантливости.



Таким образом, на исходе 1859 года было послано приглашение занять кафедры в академии находившимся за границей Якубовичу, Боткину, Сеченову, Беккерсу и Юнге, имена которых сделались известными благодаря их трудам, помещенным в иностранных медицинских изданиях. Из них лишь Якубовичу тогда было под 50 лет, и он был воспитанником Харьковского университета, тогда как остальные четверо только три-четыре года как кончили курс в Московском университете, и они тем охотнее приняли это приглашение, что, будучи связаны близкой дружбой, видели возможность при одновременном появлении их в академии бороться с обветшалой рутинной и старыми порядками совокупными, а не единоличными силами. Боткин, приняв приглашение, выговорил для себя условие приехать в Петербург не ранее осени 1860 года, чтобы иметь время познакомиться с парижской школой и клиниками и привести к концу начатые работы. Всю эту зиму и часть лета он провел весьма деятельно в Париже, посещая лекции Клода Бернара, клиники Бартеза, Труссо, Бушю и других; там же он написал свою докторскую диссертацию о всасывании жира в кишечнике и отправил ее на рассмотрение в академию, окончил свою большую работу о крови и поместил ее в вирховском «Архиве» вместе с другой работой, об эндосмозе белка, – наблюдение, которое он производил над куриными белками, лишенными скорлупы, при помощи соляной кислоты; кроме того, он работал и над другими вопросами.



С. П. Боткин. 2-я половина 60-х годов.

К сентябрю 1860 года Боткин прибыл в Петербург и после защиты диссертации немедленно был назначен исполняющим должность адъюнкта при академической клинике 4-го курса, которой заведовал профессор Шипулинский, человек не без дарований и не без познаний, но больной и уже настолько отсталый в своем деле, что ему трудно было вести клинику на уровне с современными требованиями науки и бороться со своим новым и высокоталантливым помощником. Студенты вскоре оценили достоинства и преимущества Боткина и стали охотнее ходить к нему на лекции, чем к Шипулинскому; не прошло и месяца после первого выступления Боткина в клинике, как отношения между ним и его патроном испортились до невозможности, так что после нескольких диагностических турниров над постелью больных, в которых победа осталась за молодым ученым,

Шипулинский менее чем через год подал в отставку.

Среди профессоров тогдашней академии существовало две враждебные одна другой партии: немецкая и русская, находившаяся пока в зародыше. Первая предложила на конференции передать клинику Шипулинского кому-нибудь из старших «наличных» профессоров, Экку или Бессеру, оставив Боткина в звании адъюнкта; но тогда Боткин, которому Дубовицкий при поступлении в академию обещал, что он тотчас же получит место ординарного профессора, как только откроется вакантная клиника, заявил решительно, что выйдет тотчас же в отставку, если не будет сделан самостоятельным хозяином в освободившейся клинике. Неизвестно, чем кончились бы эти препирательства, – весьма возможно, что академия лишилась бы Боткина, если бы не явилась на конференцию депутация от студентов с просьбой отдать ему предпочтение перед другими конкурентами и не склонила бы тем чашу весов на его сторону: он был избран ординарным профессором.

Глава III

Деятельность Боткина как клинициста. – Устройство лаборатории и приема для приходящих больных в клинике. – Отношение к слушателям. – Лекции. – Летние занятия

С этого времени плодотворная деятельность Боткина могла развиваться без всяких помех. Она была слишком сложна, чтобы очертить ее краткими штрихами, и слишком специальна, чтобы сделать ее вполне удобопонятной для не-врачей. И если мы пытаемся теперь это сделать, то чувствуем при этом сами, насколько такая попытка превосходит наши слабые силы.

Сделавшись полновластным хозяином клиники, Боткин посвятил ей свои лучшие силы с таким рвением и с такой бескорыстной любовью, какие весьма редки в современных клиницистах, всегда отвлекаемых от преподавательского дела частною практикой, и какие (что особенно беспримерно) сохранялись в нем на прежней высоте, нисколько не ослабевая с годами до самой смерти. Эта любовь к клинике составляла в его жизни самое главное, господствующее чувство, – и все другие житейские интересы, не только общественные, не только частной практики, но даже, я решаюсь сказать, как это ни покажется невероятным, а многим даже чудовищным, интересы личного здоровья и благополучия, материальной будущности нежно любимой им семьи – все это уходило у него на второй план, лишь только случайно затрагивался вопрос о возможности прекращения для него клинической деятельности. Между прочим, вспоминается мне, как в конце 1887 года, за два года до его смерти, я, исследовав его впервые в Париже, посоветовал оставить на год занятия и провести зиму в Ницце; он даже побледнел, замахал решительно руками и, задыхаясь от волнения, вскричал: «Ну как ты можешь подать мне такой совет? Да разве ты не понимаешь, что клиника – всё для меня и что без нее я жить не могу? Я тогда совсем пропащий человек» и т. д., – и в его горячих, взволнованных словах слышалась такая искренность и непоколебимая убежденность фанатика, что оспаривать его не было никакой возможности.



***Памятник С. П. Боткину перед клиникой, в которой он работал.
Скульптор В. А. Беклемишев. Бронза. Петербург. Открыт в 1908 году.***

В клинике сосредоточилась вся его страсть к науке и именно самая благородная сторона знаний – применение их к жизни; от клиники он получал двойное удовлетворение. Во-первых, в ней он продолжал учиться сам, проверяя все, что ему давали как книга, так и те соображения и задачи, которые зарождались, вырабатывались и в несметном количестве накапливались в его постоянно работавшем мозгу; в свою очередь и клиника как непосредственное наблюдение больных беспрестанно наталкивала его на новые вопросы и выводы, служившие целям его самообразования. Во-вторых, в клинике он любил – и чуть ли не больше всего – свое преподавательское дело; в чтении лекций он видел не простое исполнение своего долга – для него они составляли живую, неодолимую потребность его натуры делиться собственными обширными знаниями и прививать

молодым формирующимся умам ту же веру в медицину как точную науку, какая одушевляла его самого.

При такой-то безграничной любви к делу, при необыкновенных способностях, трудолюбию и громадных познаниях Боткин, возглавив клинику, постарался поставить ее на такую высоту, на какой до него не стояла ни одна клиника у нас да едва ли и в Западной Европе. Раньше, говоря о его берлинских занятиях, мы приравнивали его к знаменитому клиницисту Траубе и находили между ними много сходного; и точно, среди европейских клиницистов только Траубе один мог соперничать своими клиническими дарованиями с Боткиным, хотя и он во многих отношениях уступал, по нашему мнению, русскому ученому. Траубе был сравнительно с ним больший эклектик и сосредоточивался на нескольких излюбленных им вопросах, глубокой разработке которых он посвятил свои замечательные способности и наблюдательность, тогда как Боткин охватывал своей любознательностью все, входящее в рамки клинической медицины, и нет почти ни одного отдела болезней, в изучение которого он не внес бы собственных, самостоятельных наблюдений. В качестве преподавателя Боткин был гораздо цельнее и симпатичнее Траубе: в то время как последний из простого денежного расчета старался возможно более ограничить доступ слушателей в свою клинику и держал у входа в нее сторожа, на обязанности которого лежало не пропускать никого без билета, купленного оплатою гонорара, Боткин, наоборот, был самым доступным преподавателем; он как трибун любил говорить перед набитой слушателями аудиторией и как сеятель истины радовался, что чем больше окружающая его толпа, тем и жатва для целей преподавания будет обильнее. Наконец, в Траубе было много сухости и черствости, неприятно поражавших в его отношениях к клиническим больным; он смотрел на них как на объект исследования, как на неодушевленные куклы, предназначенные служить задачам преподавания, а потому в обращении его к ним с вопросами и при исследовании их всегда были заметны грубость и всякое отсутствие сочувствия к положению больного, – и эта резкая манера учителя невольно усваивалась его учениками. В противоположность этому Боткин был воплощенная человечность и доброта: он так мягко и участливо обходился с больными, с таким искренним сочувствием проникался их страданиями, что одними этими врожденными своими качествами приобретал неограниченное доверие больных, причем такая естественная гуманность, чуждая всякой сентиментальности, оказывала прекрасное воспитательное действие на слушателей, неизбежно привыкавших даже во внешних приемах подражать обаятельной личности

учителя, и делала его клинику при всех прочих ее медицинских достоинствах самой образцовой школой для будущих врачей.

Что же касается собственно лекций, то большую часть к каждой из них он готовился весьма старательно, перечитывал для нее массу вспомогательного материала и зрело обдумывал ее план. Такая добросовестная подготовка делала то, что его лекции, не блистая особым красноречием и рассчитанными на впечатлительность молодежи фразами, являлись деловитой, умной импровизацией, в которой все было рассчитано на то, чтобы слушатели как нельзя яснее и отчетливее поняли и основательнее усвоили излагаемую профессором тему. Если же мы прибавим, что чтения эти всегда сопровождалась демонстрациями на больных, производимыми с самою совершенною техникой и с безукоризненною тщательностью, то станет понятным, как, сильно лекции Боткина действовали на слушателей, при отсутствии всяких внешних эффектов именно своею сущностью, убедительной ясностью и обстоятельностью. Многие из массы его учеников могли бы передать, как эта трезвость мысли профессора вместе с его искренним воодушевлением своим делом впервые заронила в них семя бескорыстной любви к науке, скрасившей впоследствии всю их жизнь, но наша родная инертность делает то, что мы покуда мало встречаем в печати таких рассказов, между тем они лучше всего помогли бы уяснить всю силу живого слова Боткина, его влияния на молодежь и показать значение его как преподавателя. А что ученики достойно ценили высокие качества учителя, наглядно доказывается тем взрывом глубокого горя, какое вызвало известие о его смерти в самых глухих и отдаленных углах России, выразившимся в целом ряде печальных манифестаций; по ним хотя бы отчасти можно судить, какими редкими феноменами являются в нашей жизни такие идеальные наставники и как чувствуют это те, кому судьба доставит счастливую возможность в пору своего развития находиться под их руководством и заимствовать пусть часть того света, который они внесли с собою в жизнь человечества.

Нельзя не пожалеть также, что и в медицинской литературе сохранилось относительно немного его лекций, несмотря на почти 30-летнюю преподавательскую деятельность Боткина.

Только в 1881 году Боткин начал издавать «Еженедельную клиническую газету», где помещались преимущественно сообщения из многочисленных работ, производившихся с этого года в клинике его слушателями; но главное украшение издания составляли некоторые из собственных лекций Боткина, которые записывались в клинике

ассистентами и впоследствии были изданы отдельными выпусками. Таких выпусков было три, причем последний появился уже после его смерти, под редакцией докторов Бородулина, Сиротинина и Янковского.

Эти лекции наглядным образом свидетельствуют, что он до конца своей жизни оставался самым толковым и талантливым клиницистом своего времени и что та же ясность аналитического ума, то же мастерство наблюдения и группировки явлений и чрезвычайно добросовестное знакомство с самыми животрепещущими научными вопросами, какие отличали его в начале его клинической деятельности, не только сохранились в нем до конца, а, скорее, еще много выиграли в тех свойствах, которые приобретаются в зрелом возрасте жизненным опытом в виде массы пережитых фактов и большим отрезвлением мысли. Перечитывая эти лекции, попавшие в печать, еще больше убеждаешься, как ясно и широко велось им образование молодежи и в то же время как много содержалось в них поучительного и для зрелых врачей, и для других клиницистов, и для самой науки, – и нельзя не пожалеть, что мысль записывать и печатать эти лекции родилась только в последние годы боткинской жизни, тогда как все его прежние лекции за предыдущее 20-летие профессорства так и погибли для медицинского мира; правда, они сослужили службу своего прямого назначения, то есть образовали и просветили множество молодых врачей, но не попали в тот склад человеческих знаний, каким служит печать, которая одна способна сохранять для науки и потомства результат умственной работы выдающихся мыслителей и ученых. О таком сохранении лекций Боткина должны были бы позаботиться окружавшие его лица, потому что сам Боткин был необычайно скромн и, всю жизнь всецело занятый своими ближайшими обязанностями, вовсе не думал о том, чтобы знакомить внеакадемический медицинский мир со своими самостоятельно выработанными взглядами, вполне удовлетворяясь тем, что делился ими со своей аудиторией. Точно так же ему совсем чуждо было то славолубие, каким страдают современные ученые и которое их так нередко доводит до мелочных препирательств из-за права на первенство по поводу какого-нибудь нового открытия или наблюдения: множество фактов, впервые подмеченных Боткиным, вошло в европейскую науку впоследствии или от имени какого-нибудь заграничного ученого, или как вывод из позднейших наблюдений многих только потому, что все свое самостоятельное и новое, мысли или наблюдения, Боткин не спешил отдавать в печать, а нес в свою клинику и передавал слушателям, хотя последние, по недостаточности своего медицинского развития, сплошь и рядом не могли и не умели еще

достаточно оценить важность и значение сообщаемого им. К счастью, в его аудитории всегда было немало подготовленных ценителей в лице ассистентов и в толпе молодых врачей, продолжавших и по окончании курса ревностно посещать лекции Боткина, – эту-то последнюю категорию слушателей вышесказанная сторона лекций его, то есть изложение самостоятельных выводов его мысли, тем более интересовала и привлекала, что она еще не стала достоянием ученой печати.

Специально входить в подробности того богатого вклада, какой внесла наблюдательность и устная ученая деятельность Боткина в область клинической медицины, мы здесь не можем, так как для этого пришлось бы вдаваться в частности, неуместные в биографии, предназначенной преимущественно для публики; это задача другого, более специального труда. Скажем только, что в этом будущем труде придется перечислить чуть не всю номенклатуру внутренних болезней, потому что при «разборе» каждого больного он давал много такого, что не было заимствовано из посторонних источников, а принадлежало его собственному мышлению и неутомимой вдумчивости во всякое болезненное явление; так, особенно много расширил он и осветил патологию желчной колики, болезней сердца, подвижной почки, селезенки, тифа, хронических страданий мозгового вещества, желудочно-кишечного катара и т. д. Благодаря той же тщательности наблюдений и исследований больных Боткину удалось восстановить в ряду болезней возвратную горячку, которая несколько десятилетий прежде появлялась в Европе и была описана, а затем считалась в числе исчезнувших и упоминаемых лишь в истории медицины эпидемий, хотя едва ли мы ошибемся, утверждая, что она изредка продолжала появляться, но по сходству смешивалась с тифом.

Кроме этих выдающихся преимуществ лекций Боткина, обязанных его личной талантливости, в его клинике вследствие всестороннего исследования всякая болезнь наглядно для студентов утрачивала свое шаблонно-книжное определение и индивидуализировалась, то есть в ней подмечались все уклонения, какими видоизменялась она в каждом конкретном случае по причине особенностей пораженного ею организма; вместе с тем само собою получалось широкое применение правила, что надо лечить больного, а не болезнь. Таким образом, рамки науки раздвигались до бесконечности, и всякий вдумчивый студент, набираясь клинического опыта, приобретал убеждение, если он не приобрел его раньше, что в служении науке вообще и медицине в частности даже среднему, но трудолюбивому уму открыто обширное поле для последующих исследований, для той плодотворной работы, которая

медленно, но неуклонно ведет к познанию истины, то есть к осуществлению самых благородных и бескорыстных идеалов человечества. Пусть читатель вспомнит ту мертвую законченность катехизисных, по выражению Боткина, истин, какую студент Боткин вынес при получении образования из русской медицинской школы, тогда он лучше всего поймет и колоссальный переворот, совершившийся в медицине с введением в нее экспериментального метода наблюдения, и заслуги Боткина для России как главного, наиболее талантливого и ревностного распространителя этого метода в нашем отечестве.

Взяв клинику в свои руки и желая поставить ее так, чтобы она могла совершенно отвечать современным требованиям изучения клинической медицины, Боткин немедленно устроил при ней лабораторию для того, чтобы дать самое широкое применение клиническому опыту как в видах более совершенного образования молодежи, так и для разработки множества еще не исследованных наукою вопросов, беспрестанно возникавших в нем самом при преподавании. Это было нововведение, какое до Боткина, помнится, не имела ни одна европейская клиника. В этой лаборатории вначале ему все приходилось делать самому, покуда не удалось воспитать дельных помощников и передать им подготовительную часть, так сказать, черную работу; первое время он не только всякому желавшему заниматься выбирал тему, подробно знакомил с нею, указывая и на печатные источники, с которыми необходимо предварительно познакомиться; не только постоянно следил и руководил, но должен был знакомить с техникой исследования, с элементарными приемами обращения с реактивами, животными и т. п. Вторым его делом было учреждение при клинике амбулатории— приема приходящих больных два раза в неделю, достигшего вскоре огромных размеров и послужившего новой, дополнительной школой для практического образования будущих врачей, а для Боткина – источником новых наблюдений. Только что закончив с лекцией и с обходом палатных больных, он переходил в амбулаторию, где его ассистенты и помощники из студентов обследовали больных и в сомнительных случаях обращались к нему за разъяснением или проверкой, причем он часто должен был прочитывать чуть не целые лекции по поводу этих случайных, но поучительных в каком-нибудь отношении больных.

Понятно, что при такой неутомимой деятельности профессора наступила для клиники новая жизнь; молодые, способные ученики сгруппировались около него и, увлекаемые его личным примером, отдавались горячо работе. В первые же десять лет из его клиники вышла

целая фаланга молодых профессоров, занявших места клиницистов в провинциальных университетах: Виноградов – в Казани, Покровский – в Киеве, Лашкевич – в Харькове, Попов – в Варшаве, не говоря уже о том, что в самой академии большая часть клиник перешла в руки его бывших ассистентов. Такими были Манассеин, Чудновский, Полотебнов, Пруссак, Успенский, Кошлаков и другие. Все они составили так называемую «боткинскую школу» и, усвоив метод боткинское тщательного, разностороннего исследования больных, а также приучившись к лабораторным исследованиям, с большим или меньшим успехом самостоятельно развивали выводы экспериментальной медицины дальше и продолжали начатое Боткиным дело – поддерживать медицинское образование в России на уровне современной европейской науки, – и нельзя не согласиться, что в этом отношении были достигнуты русскими врачами в короткое время громадные успехи.

Здесь уместно будет вспомнить еще одну почтенную заслугу Боткина в истории русской медицины. Ранее, в первой главе, мы упомянули вскользь о печальном антагонизме между врачами русской национальности и немецкой вследствие большей и меньшей доступности докторских дипломов, – антагонизме, постепенно обострявшемся и приведшем наконец к горячей и продолжительной борьбе, в которой Боткин принимал деятельное и по своему видному положению первенствующее участие; из-за этого он нажил себе немало врагов в противном лагере, причем немало вынес упреков в узкой «партийности» и фаворитизме. По нашему мнению, тут следует винить не Боткина, а то привилегированное положение, которое было создано для немцев предшествовавшими порядками, и которыми они воспользовались чересчур – в ущерб своим русским собратьям. Если же он, всецело преданный служению науке, а потому лучше всякого другого понимавший вред для ее интересов от существующей розни между врачами разных приходов, не мог оградить ни этой науки от вторжения человеческих страстей, ни себя от боевой роли, то это лучше всего доказывает, что несправедливость была слишком вопиюща и вынудила его на вмешательство. Заслуга Боткина в том и заключается, что он положил конец забитому положению врача русского происхождения: подняв его образование до возможной степени совершенства, он в то же время заботился открыть ему соответствующее его знаниям поле деятельности и мог утешиться еще при жизни, что успел достичь этого. Вот почему, встречая в числе его учеников исключительно русские имена, мы видим при этом, что ученики эти не были затерты, как то было с их предшественниками, а пользуются теперь независимым положением, и все

единогласно признаются, что как материальным улучшением судьбы, так и нравственным подъемом своего самосознания они обязаны в значительной мере Боткину – и как преподавателю, и как энергичному защитнику их интересов.

Если студенты считали за особенное счастье быть слушателями Боткина и гордились своим учителем, то еще больше был счастлив он сам, когда ему удавалось подметить среди них способного юношу, в которого он стремился полнее перелить свои научные заветы и в котором надеялся оставить по себе достойного, любящего свое дело преемника. Таких молодых людей он немедленно приближал к себе, помогал им словом и делом и побуждал к деятельности, увлекая собственным примером. Несмотря на неизбежные и нередкие разочарования, он не изменил этой живой потребности близкого общения с наиболее талантливыми и трудолюбивыми учениками до последнего времени, отличал их при постоянной смене своих ассистентов, открывал им доступ в свой дом и ко многим привязывался с чисто родительской нежностью. Для характеристики таких трогательных отношений приведем отрывок из некролога, напечатанного им по поводу смерти одного из учеников и ассистентов – Н. А. Бубнова (умер 18 декабря 1884 года), где Боткин говорит: «Провожая тело нашего товарища, моего ученика и молодого друга, скорбя глубоко со всеми знавшими покойного, я невольно припоминаю жизнь его за последние девять лет, которые прошли перед моими глазами, и в этих-то воспоминаниях я нашел возможность если не примирения с тяжелой утратой, то, по крайней мере, некоторого утешения, дающего силы покориться печальной судьбе нашего молодого товарища. Недолго жил он на свете, но много сделал и оставил по себе тот нерукотворный памятник, в котором олицетворилось сочетание наилучших свойств человеческой природы: любовь к ближнему, чувство долга, жажда знания. Благодаря этим отличительным свойствам природы покойного... являлась та энергия и сила, которая поражала всех знавших его. Он носил в себе тот священный огонь, который давал ему возможность преодолевать все встречавшиеся на пути трудности и испытания в жизни; не из расчета на блистательную карьеру трудился он как студент, как молодой врач, оставленный при институте академии, как хирург– волонтер частного санитарного отряда в Сербии, как врач „Красного Креста“ в нашей последней турецкой кампании, наконец, как ассистент клиники. В течение всех этих трудовых девяти лет страстная, бескорыстная любовь к ближнему, чувство долга и жажда знания были главными стимулами его жизни, и в силу сложившихся обстоятельств он мог себе давать не раз

высочайшее счастье в жизни – удовлетворение существенным потребностям своей души». Рассказав подробнее о деятельности Бубнова, Боткин заканчивает словами: «Но не об ассистенте клиники скорблю я, а о погибшем честном деятеле. Осталось в утешение одно: что он был, и да будет память его служить примером для будущих деятелей на благо нашей родины».

Если так смотрел Боткин, когда ему самому уже перешло за 50 лет, на любовь к ближним, на долг и на жажду знаний как на величайшее счастье в жизни и так любовно привязывался к тем из молодых своих учеников, в которых подмечал стремление к тем же идеалам, то можно себе представить, с каким рвением и энергией принялся он за дело, когда, будучи в расцвете лет и сил, сделался самостоятельным преподавателем клиники, получив при этом широкий простор для распространения своих научных познаний и гуманных взглядов. Неутомимость его была поразительна: в первые годы, пока его не стали отрывать от клиники другие занятия, он отправлялся в нее в 10 часов утра и оставался там вплоть до вечера в постоянной работе, то за лекцией, то за приемом входящих больных, то за занятиями в лаборатории, где руководил одновременно многими начатыми исследованиями; домой он возвращался прямо к шестичасовому обеду без малейших признаков утомления, напротив, всегда живой, веселый и, видимо, удовлетворенный результатами своего трудового дела, а пообедав, поболтав с семьей, поиграв с час и более на виолончели, садился за медицинские книги, за приготовления к завтрашней лекции и просиживал за чтением до трех-четырёх часов ночи.

Его могучая, здоровая натура удивительно легко справлялась с таким непрерывным умственным напряжением и не испытывала никакой потребности в отдыхе. Наступила летняя вакация между семестрами 1861-го и 1862 годов, первый обязательный отдых для Боткина, когда клиника с лабораторией закрылись на лето, и он с семьей перебрался на дачу в Ораниенбаум. Но он и тут не отдавался праздности; лучшим доказательством может служить сохранившееся у меня его письмо из Ораниенбаума, которое я привожу почти целиком, так как в нем он прекрасно передает сам то увлечение, какое овладевало им во время ученых работ.

«Только что прочел твое письмо и, в доказательство того, как оно меня сконфузило заслуженным образом, тотчас же сажусь отвечать. Ей-Богу, гадко самому вспомнить мою подлую лень, которая обуяла меня в корреспонденции. Одно меня может несколько оправдать – это то, что все это время я работал очень исправно. Не говоря о том, что я гибель

прочитал, я еще сделал целую работу, и ради нее ты не ругай меня. Я взялся за лягушек и, сидя за ними, открыл новый кураре в лице сернокислого атропина; надо было проделать с ними все опыты, какие были сделаны с кураре. Новизна приемов работы (по этому отделу я еще не работал), удачные результаты и поучительность самой работы до такой степени меня увлекали, что я просиживал за лягушками с утра до ночи, просиживал бы и больше, если бы жена не выгоняла меня из кабинета, выведенная наконец из терпения долгими припадками моего, как она говорит, помешательства. Теперь я эту работу настолько кончил, что отправил предварительное сообщение в здешний новый немецкий журнал. Работе этой я чрезвычайно благодарен, она многому меня выучила. Окончивши ее, я увидал, что август на дворе, вспомнил, что для лекций студентам мало было сделано, по крайней мере из того, что было назначено, и с лихорадочною дрожью схватился за чтение. До какой степени меня охватывает какая-нибудь работа, ты не можешь себе вообразить; я решительно умираю тогда для жизни: куда ни иду, что ни делаю – перед глазами все торчит лягушка с перерезанным нервом или перевязанной артерией. Все время, что было под чарами сернокислого атропина, я даже не играл на виолончели, которая теперь стоит заброшенной в уголке. Итак, не сердись на меня, помирись с тем припадком, который, разыгравшись у меня, иногда заставляет забывать о приятелях, и смотри на это как на припадок сумасшествия».

Проработав подобным образом все лето и затем следующий академический семестр, он на вакации 1862 года отправился за границу. Здоровье жены требовало лечения в Эмсе, а ему самому хотелось пожить снова в Берлине, куда влекли его волнующие воспоминания о недавней его рабочей жизни в нем, а главное, опять-таки желание не прогулять без пользы лето и вновь заняться в институте патологии, – он оставался там около полутора месяцев, аккуратно посещая лекции Вирхова и клиники.

«Пребыванием в Берлине я чрезвычайно доволен, – писал он, – освежился в научном отношении так, что готов был остаться там и засесть за работу. Даже Фрерихс, олицетворенная слабость как клиницист, был для меня очень полезен своими ошибками, которые служили мне поучением. В Берлине я с ужасом увидел тяжелое положение ученого в России, до какой степени мы стоим там изолированно; всякий, запершись у себя, предоставлен единственно своим силам. Эта поездка убедила меня в необходимости если не ежегодно, то по крайней мере через два года выезжать за границу, а то завянешь и сделаешься никуда не годным».

Закончил эту свою поездку Боткин морскими купаниями в Трувилле.

Глава IV

Деятельность Боткина как практического врача, его домашние приемы больных и консультативная практика. – Тиф. – Досуги Боткина и некоторые черты его характера. – Научно-литературные труды

После возвращения Боткина в Петербург осенью 1862 года к его клиническим занятиям прибавилась новая обширная деятельность, если и не столь привлекательная для него как клиника, тем не менее неизбежно связанная с его долгом и специальностью. Первые года полтора или два он вовсе не имел частной практики, и имя его оставалось совсем неизвестным петербургской публике; но по мере того как слава его как тонкого диагноста упрочивалась в академии, она стала распространяться и по городу, и понемногу больные стали разыскивать его скромную квартиру у Спаса Преображения в доме Лисицына. Особенно громкий эффект произвела в семестре 1862/63 года его клиническая диагностика весьма редко встречаемой и чрезвычайно трудной для определения болезни – закупорки воротной вены, блистательно оправдавшаяся вскрытием умершего больного; после этого прилив пациентов к нему на дом стал так расти, что в том же 1863 году в его небольшой гостиной набивалось до 50 человек и он, употребляя на прием около четырех часов, вскоре был не в состоянии осмотреть всех, чаявших его совета.

Необыкновенно широкая популярность Боткина как практического врача слишком хорошо известна современному поколению, чтобы нам на ней долго останавливаться, и понятна всякому, кому приходилось прибегать к его помощи; каждый новый пациент делался безусловным поклонником его и увеличивал собою бесчисленные ряды лиц, доверявших ему свое лечение. А так как эта лавина продолжала расти в течение почти 30 лет, то можно себе представить, каких размеров достигала она впоследствии. Не только добросовестная точность и напряженная внимательность, с какими он исследовал каждого, но и его приветливая внешность, сквозь которую ярко просвечивала необыкновенная человечность, искреннее сочувствие страждущему и еще более искреннее желание помочь ему делали из него идеального врача, производившего на всех обращавшихся к нему зачаровывающее впечатление и убежденность, что если возможно исцеление от серьезного недуга, то только при содействии Боткина. И

действительно, с помощью своих знаний, самого добросовестного исследования, сообразительности, а впоследствии и обширного опыта, приобретенного с годами, Боткин являлся истинным стратегом в борьбе с болезнью в каждом отдельном случае; но тогда как военные стратеги и полководцы заносят подвигами и выигранными сражениями свое имя на страницы истории, подвиги Боткина как практического врача-гуманиста и искуснейшего борца за вверяемую ему жизнь гораздо менее громогласны и без шансов перейти в потомство способствовали лишь его прижизненной славе, глубоко запечатлевались горячею благодарностью в сердцах спасенных им людей и их родных, и только на время их жизни. О сумме же таких отдельных спасений в практике Боткина вернее всего свидетельствует его необычайная популярность как лучшего врача среди больных, стремившихся за его советом со всех концов России. Популярен был не только он сам, но большое доверие приобретало все, что было им рекомендовано, и больные в провинции, никогда лично к нему не обращавшиеся, нередко принимали лекарство по его рецептам, выписанным для их знакомых; так, сделались весьма распространенными и известными боткинские капли, боткинский порошок, его пилюли, его мазь и прочее. Одно время был даже в большом ходу квас из сухарей, когда-то им рекомендованный и известный под именем «боткинское».

Одновременно с приемами Боткина на дому стала развиваться и его частная практика вне дома, почти исключительно консультативная, и тоже быстро достигла огромных размеров, ибо и как консультант он был неocenим своими познаниями и добросовестностью. Никогда он не полагался на истолкование болезненных явлений лечащим врачом и на поставленную ранее диагностику, а непременно исследовал сам со своей обычной старательной манерой, вследствие чего его консультации были чрезвычайно поучительны для лечащего врача, открывая иногда упущенные явления или помогая разобраться в запутанных случаях, и в то же время полезны для больных, выводя их рациональным лечением на путь выздоровления, если это было возможно. Даже в самых безнадежных случаях он своею гуманностью и задушевным участием умел скрасить последние дни умирающего, вселяя в него надежду если не на выздоровление, то на продолжительное существование в виде хронического больного, и пациент, чуть ли не агонизирующий, хватался за эту соломинку, надеялся и проникался горячей благодарностью к Боткину. Наконец, Боткин, не будучи «денежным» человеком, тем не менее, однако, с одинаковым вниманием относился и к высокопоставленному лицу, и к богачу, и к пациенту в больнице, и к приходившему к нему летом на дачу

соседу-мужику. Среди его ежедневных городских консультаций из пяти-шести визитов редкий день он не имел одну или две бесплатных, откуда ясно, что работал за деньги только потому, что они ему были необходимы для поддержания и воспитания многочисленной семьи. Поэтому-то он умер не богачом, каким легко мог бы сделаться при своем колоссальном труде и огромной практической деятельности, а оставив жене и дочерям состояние, едва обеспечивающее скромное существование. Конечно, удовлетворить всех как врач он был не в состоянии, и ему чаще чем кому-нибудь другому приходилось отказывать в посещении трудного больного. Поэтому можно было иногда встретить людей, обвинявших его в недоступности, в черствости и тому подобном; но таких людей было сравнительно немного, и подобные обвинения отпадают сами собой: они становятся даже просто непонятными для всякого, кто близко знал, как неутомим и самоотвержен был Боткин в исполнении своего долга, как усиленно и много работал он ежедневно, и кто понимает, что есть предел труду человека.

К тому же Боткин считал клиническое преподавание своей первой обязанностью и главным применением своих знаний на службе родине и обществу; частная же помощь больным всегда у него стояла на втором плане. Мало того, как сказано было раньше, занятия в клинике были его самым излюбленным делом потому еще, что от них он получал наиболее полное самоудовлетворение, чего, конечно, нельзя сказать о частной практике и в особенности о приемах на дому. В клинике его главной задачей как преподавателя было обследовать самым подробным и разносторонним образом больного, употребляя на каждого из них одну, две, а случалось, и пять лекций и стараясь как можно рельефнее выявить всякое, даже самое небольшое отклонение данного организма от его здорового состояния, сгруппировать все эти отклонения и на основании выработанных наукою более или менее непреложных законов сделать наиболее точное распознавание – словом, самое существенное здесь – это распознавание болезни. Конечно, Боткин отводил в преподавании большое место и лечению больного; но лечение представляет в медицине отдел наиболее произвольный, подверженный частым изменениям и, несмотря на многовековые усилия врачей поставить его на более рациональную почву, лишено до сих пор тех непререкаемых, строго научных устоев, на каких построено распознавание. На домашнем же приеме это соотношение между диагностикой болезни и лечением ее, их взаимная роль чувствительно меняются. Бесспорно, диагностика необходима и в этом случае, но на первый план здесь выступает лечение, больной прежде всего просит рецепта, просит лекарства, долженствующего восстановить его здоровье,

зачастую утраченное безвозвратно. К тому же на домашнем приеме невозможно уделять каждому больному столько же времени, сколько в целях преподавания употребляется на осмотр клинического больного, то есть по меньшей мере около часу, и если бы Боткину вздумалось так же основательно принимать своих частных амбулаторных больных, он успевал бы осмотреть разве только десятую часть пришедших, и тогда между неудовлетворенными людьми неизбежно возникали бы конфликты, претензии.

Вследствие этого появлялась необходимость спешить самому, торопить больных – и все вместе это приводило к тому, что приемы на дому по мере их разрастания все более утомляли Боткина, не давая взамен того нравственного удовлетворения, какое получал он от клиники.

Уже в письмах его от 1863 года слышится нота этого утомления: «Три недели как начались лекции, – пишет он 4 октября. – Из всей моей деятельности – это единственное, что меня занимает и живет, остальное тянешь как ляжку, прописывая массу почти ни к чему не ведущих лекарств. Это – не фраза, это дает тебе понять, почему практическая деятельность в моей поликлинике так тяготит меня. Имея громадный материал хроников, я начинаю вырабатывать грустное убеждение о бессилии наших терапевтических средств. Редкая поликлиника пройдет мимо без горькой мысли, за что я взял с большей половины народа деньги да заставил ее потратить на одно из наших аптечных средств, которое, давши облегчение на 24 часа, ничего существенно не изменит. Прости меня за хандру, но нынче у меня был домашний прием, и я еще под свежим впечатлением этого бесплодного труда».

В другом позднейшем письме того же года он снова возвращается к этому утомлению и говорит: «...часто мне приходит в голову мысль, очень печальная: из-за чего же бьешься, как колокольчик? когда же, наконец, придет такое время, что не нужно будет постоянно плакаться о том, что день сделан не из 40 часов? Ведь если бы еще я страдал деньголюбием, честолюбием, славолюбием, – клянусь честью, что плюю на все, что может успокаивать припадки этих человеческих болезней, а между тем волей-неволей я как локомотив какой-нибудь выехал на такие рельсы, с которых нельзя соскочить».

При всех этих непрерывных клинических и врачебных занятиях Боткин уделял еще время для литературных работ и, кроме небольших статей, напечатанных в «Медицинском вестнике» Чистовича, весь 1863 год составлял рефераты по отделу внутренних болезней для «Военно-медицинского журнала», издаваемого тогда под редакцией известного

медицинского писателя С. П. Ловцова. Теперь рефераты эти, естественно, забыты; но в свое время они оказали врачам немалую пользу, и если бы кто-либо вздумал перелистывать их в настоящее время, то удивился бы, сколько добросовестного труда надо было положить на составление их и какое множество медицинских книг и журналов приходилось перечитать для того. Писал их Боткин из любви к делу, с единственной целью – познакомить обстоятельно русских врачей с текущей иноземной медицинской литературой, – и зимой писал он их большей частью после тяжелого трудового дня, лишая себя таким образом даже необходимого ночного отдыха.

Что же мудреного, что его «локомотиву» при такой дневной и ночной службе пришлось-таки соскочить на полном ходу с рельсов и осудить себя на довольно продолжительное бездействие? Крайне утомленный работой и постоянным умственным напряжением, Боткин легко поддался больничной заразе и в самом начале 1864 года заболел тяжелым сыпным тифом с резким поражением мозговой системы. Крепкий организм одолел болезнь, но восстановление сил шло очень медленно, и в марте того года он писал: «...несмотря на то, что вот уже полтора месяца как поправляюсь, но далеко не чувствую себя способным к серьезному труду, а потому еду в Италию встречать весну и, если поправлюсь, к летнему семестру – в Германию. Велико наслаждение вырваться из того омута деятельности, в котором я был перед своей болезнью; вряд ли мне случится еще раз в жизни утомляться до такой степени, как я был измучен в этот семестр».

Он отправился с семьей прямо в Рим, и там, на полном отдыхе и под благодатным южным небом, быстро исчезли следы перенесенной болезни. Отдохнувши, он посетил Неаполь, съездил в Сицилию, а к середине мая был уже в Вене, где снова слушал физиологов и клиницистов; и Вена по-прежнему его удовлетворяла мало, его неудержимо тянуло на старое пепелище – в Берлин, к великому учителю Вирхову. Перебравшись туда, он остался до конца летнего семестра, уезжая рано утром со своей дачи в Шарлоттенбурге, возвращаясь только к позднему обеду и проводя целый день в институте патологии, где «пожирал», как выражается он в письме, лекции Вирхова, следил за его вскрытиями трупов, занимался с микроскопом и начал в лаборатории собственную работу, которую, однако, не успел довести до конца из-за каких-то неудач при производстве вивисекций. В заключение, искупавшись в Биаррице, он после полугодового отсутствия вернулся в Петербург, где за это время при деятельном усердии завистливых соперников и врагов, которых у него вследствие успехов развелось немало, уже успела сложиться целая легенда

о том, что у Боткина после тифа сделалось поражение мозга и он сошел с ума. Но когда он начал лекции со свежими силами, восстановленными отдыхом, ряд блестящих диагностических заключений наглядно опроверг все эти вымыслы, и он тотчас занял свое первенствующее место в глазах студентов и общества. Между прочим, как раз к началу этого учебного года относится сделанное им в столице открытие эпидемии возвратной горячки, о значении которого было сказано выше.

Мы не станем следить по годам, шаг за шагом, за деятельностью Боткина, а остановимся лишь на более крупных ее фактах; упомянем мимоходом о тех немногих и скромных развлечениях, которыми он несколько разнообразил свою полную самоотверженного труда жизнь.

Отныне, то есть с 1865 года, слава его как практического врача и консультанта продолжала расти и привлекать к нему все больше и больше пациентов. В дни приемов, – а они в эти годы были пять раз в неделю, – возвращаясь в седьмом часу к обеду, он едва мог протиснуться сквозь густую толпу, наполнявшую и переднюю, и лестницу, которая вела на третий этаж его новой вместительной квартиры у Пяти Углов. Наскоро пообедав и выкурив сигару, он тотчас же начинал прием и не кончал его раньше одиннадцати часов, не успевая осмотреть значительной части ожидавшей в приемной публики. Лучшим отдыхом для него после такого тяжелого утомления была игра на виолончели, и к этой игре он питал не только страсть, но и смотрел на нее как на самое действенное средство восстановления своей умственной энергии, утомленной работой целого дня, – «это моя освежающая ванна», говаривал он. Три раза в неделю в двенадцатом часу ночи приходил к нему учитель-виолончелист (долгое время им был профессор консерватории Зейфферт), в полночь они садились за пюпитры и играли более часу; остальные дни он играл под аккомпанемент жены на фортепьяно, а в воскресенье тот же Зейфферт приводил обыкновенно с собою двух товарищей-солистов и по вечерам шло исполнение квартетов классических композиторов, длившееся по три —четыре часа. Боткин был неутомимый музыкант, хотя так и не смог выработаться в порядочного солиста; этому главным образом мешало его слабое зрение, поэтому он не мог иначе разбирать ноты, как низко наклоняясь к пюпитру, а потому часто сбивался. Тем не менее и в музыку он вносил отличительные черты своей природы, увлечение и настойчивость, продолжал брать музыкальные уроки чуть ли не до 50-летнего возраста. Летом, отправляясь в заграничную поездку куда-нибудь на воды, он не расставался как с целым чемоданом, набитым книгами, так и с виолончелью, даже забирал иногда с собою две виолончели, что однажды

подало повод к комическому недоразумению в Франценсбаде. «Водяные» врачи хотели устроить ему почетную встречу, приехали для того на станцию железной дороги и, не зная его в лицо и увидав в его багаже две виолончели, приняли за странствующего музыканта, прибывшего дать концерт на водах. Любя горячо музыку и будучи из-за непрерывных занятий совершенно лишен возможности посещать публичные концерты и театры, он находил неопишное удовольствие в своей игре, причем был чувствителен к одобрению ее даже больше (как это нередко встречается среди странностей человеческой души), чем к похвалам его медицинских талантов.

Другим развлечением, заменявшим Боткину общественные удовольствия, были «субботы», которые он «открыл» у себя с первого же года своего приезда в Петербург и поддерживал вплоть до последнего времени. Это был его журфикс, когда собирались у него его друзья и знакомые в девять часов вечера и в беседах за длинным столом просиживали до поздней ночи. На этих субботах в течение 30-летнего их существования успел перебывать чуть не весь Петербург – ученый, литературный и артистический; но преимущественно, само собой разумеется, медицинский. Они имели свою историю, свой период расцвета и упадка, и в них, как в небольшом зеркале, отражались все нравственные настроения и колебания изменчивой русской жизни. Так, начавшись в 1860 году небольшим и тесным кружком молодых единомыслящих товарищей-профессоров, они разрослись в течение этого десятилетия и первой половины последующего в многолюдные, оживленные, шумные рауты, – и это была их лучшая пора. Ввиду разнохарактерности собиравшегося общества на них редко поднимались медицинские вопросы, так же, как и политические, потому что хозяин совсем не интересовался последними; но, несмотря на подобное ограничение программы для беседований, вечера эти коротались чрезвычайно весело и доставляли Боткину такое наслаждение, что он старался удержать гостей до четырех часов ночи. Сам он, представляя центральную фигуру собрания, был весьма гостеприимным и милым хозяином, с сердечным радушием заботившимся только о том, чтобы никого не стеснить и всем доставить то удовольствие, которое получал сам от этого сборища более или менее близких ему лиц; его непринужденная веселость сообщалась всем, и для завсегдаев этих суббот посещение их делалось незаменимым источником развлечения. Не только молодежь, но даже такой анахорет, как престарелый анатом Грубер, смотрел на эти субботы как на лучший отдых для себя после недельной работы над трупами и никогда не пропускал заветного дня; здесь его

суровые черты лица преобразались, вечно нахмуренные брови разглаживались, и приятно было смотреть, как постепенно с него сходило это обычное его обличье, особенно когда он начинал как-то неумело и как-то по-детски хихикать, слушая в передаче И. М. Сеченова, постоянного его переводчика, какую-нибудь остроу или смешную историю, только что рассказанную кем-нибудь из присутствовавших на русском языке, который Грубер плохо понимал.



С. П. Боткин в амбулатории. 80-е годы.

Позднее, в 80-х годах, субботы Боткина стали солиднее и, по правде сказать, скучнее: и времена изменились, и постоянные корифеи прежних суббот (Пеликан, Якубович, Ловцов, Европеус и другие) один за другим уходили из жизни, а оставшиеся старились, постепенно утрачивали прежнюю экспансивность и уже не могли составить такого тесного круга, как прежде, находя вместо старых друзей совершенно новое поколение. Только Боткин, сидя и старея, оставался все тем же приветливым хозяином, хотя и его безграничное добродушие стало все чаще и чаще подвергаться испытанию: нет-нет, да и явится на субботний вечер какой-нибудь назойливый пациент, увлечет хозяина от гостей в другую комнату и

сорвет с него обстоятельную консультацию, нимало не задумываясь над тем, что лишает Боткина тех немногих часов отдыха, на которые он имел неоспоримое право.

Общественная деятельность Боткина была столь разнообразна и богата содержанием, что из-за перечисления ее фактической стороны у нас останется слишком мало места для подробного описания его личных характерных черт; разбросанные указания на них читатель встретит и выше и ниже в нашем очерке. Здесь же, пользуясь сделанным отступлением по поводу его досугов, прибавим несколько штрихов, дополняющих знакомство с его нравственной личностью. Как все сильные люди, он был нрава мягкого и уживчивого и, весь поглощенный делом, не обращал внимания на житейские мелочи, избегал ссор и не любил праздных споров. Все эти мирные качества его особенно ярко выступали в домашней, семейной обстановке; тут он был весь нараспашку с его нежно любящим сердцем, с его неиссякаемым добродушием и незлобивым юмором и, окруженный своими двенадцатью детьми, в возрасте от 30 лет до годовалого ребенка (от первого брака он имел пять сыновей и одну дочь, а от второго – шесть дочерей), представлялся истинным библейским патриархом; дети его обожали, несмотря на то, что он умел поддерживать в семье большую дисциплину и слепое повиновение себе. Мы ранее сказали, что Боткин не был корыстолюбив; мало того, он как малый ребенок не знал цены деньгам: зарабатывая очень много своим трудом и получив три солидных наследства от братьев, он проживал почти всё, тратя большие суммы на содержание семьи, на образцовое воспитание детей, на свою обширную библиотеку; жил просто, без излишеств, но хорошо: дом его всегда был открыт для близких знакомых, которых у него было немало. Известно, что так же был открыт и его кошелек для всяких благотворений и едва ли кто-нибудь из обращавшихся за помощью уходил от него с отказом; по крайней мере такова была репутация Боткина, потому что его левая рука никогда не знала, что творит правая; сам он никогда даже близким своим не обмолвливался о своих тратах подобного рода.

Любопытную особенность в нем составляло его отношение к политической, общественной, идейной жизни окружавшего мира. Долгое время к вопросам этого порядка он питал полное равнодушие и нисколько не интересовался, что происходит за пределами науки, словно сосредоточенное занятие последнюю лишило его совсем способности вдумываться во все остальное. Только позднее, перейдя за 40-летний возраст, он стал привыкать, чтобы в минуты отдыха жена или один из сыновей читали ему крупные новости из газет, и таким образом стал

несколько ориентироваться в политике. Самого же его с политической газетой в руках я не видел ни разу в жизни, а между тем даже за несколько недель до смерти он не мог выйти на прогулку без медицинской газеты или брошюры в кармане и, когда оставался один, доставал их и, усевшись где-нибудь на лавочке, погружался в чтение. Точно так же только в последние 10–15 лет жизни он начал знакомиться с произведениями современных русских писателей и испытывал от этого знакомства большое удовольствие, особенно восторгался он Салтыковым, а в последние свои предсмертные недели в Ментоне с живым интересом слушал чтение романов Достоевского, находя, что «это замечательно тонкий наблюдатель, но совсем не мастер писать». Служба в звании гласного думы особенно быстро и практически ввела в его кругозор общественные дела и не только приковала его внимание к этой стороне жизни, не находившей до сих пор места в его умственном обиходе, но и увлекла принять в ней самое живое и весьма плодотворное, как увидим ниже, участие. Вообще же следует сказать, что, несмотря на всю запущенность своего политического и общественного развития, Боткин был сторонником прогрессивных идей если не вследствие сознательной обдуманности, то вследствие своего глубокого образования и своих «инстинктов» как истинного представителя науки; таким он являлся и на конференции академии, и во всех комиссиях, где ему случалось участвовать. Так, он был, между прочим, горячим защитником высшего и медицинского образования женщин, доказывал это на деле, и первая женщина-врач, получившая докторские права в России, г-жа Кашеварова-Руднева по окончании курса в академии немедленно же была принята им в качестве ассистента в клинику.

Прежде чем вернуться к рассказу о дальнейшей жизни Боткина, необходимо указать еще на его печатные труды, так как главные из них относятся к тому периоду, на котором мы теперь остановились. Что литературное наследие, оставленное им, далеко не так обширно и не соответствует громкому его значению, достаточно оправдывается тем подавляющим количеством главных его занятий в звании преподавателя и по обязанностям врача, которые он нес постоянно на себе. Не его вина, что день состоит не из сорока часов, как жаловался он сам, и, для того, чтобы написать то, что было издано, он с величайшей натяжкой должен был выкраивать себе время из тех часов, которые отдаются обыкновенно ночному и вакационному отдыху. Таким образом были написаны им и напечатаны три выпуска «Курса клиники внутренних болезней», из них первый вышел в 1867 году, второй – в 1868-м и, наконец, третий – в 1875 году, и на том издание прекратилось. В первом выпуске Боткин

рассматривает болезни сердца, во втором – лихорадочное состояние и сыпной тиф, а третий заключает в себе две статьи: а) о «сократительности» селезенки и об отношении к заразным болезням селезенки, печени, почек и сердца, и б) о рефлекторных явлениях в сосудах кожи и о рефлекторном поте. Первые два выпуска переведены на французский и немецкий языки, а последний – только на немецкий и, несмотря на богатство медицинских литератур этих стран, встретили в них весьма сочувственный прием, а потому понятно, что у нас при скудости самостоятельных медицинских сочинений они были выдающимся событием; прекрасная разработка патологии и лечения описываемых болезней, стремление автора дать всякому болезненному явлению строго научное объяснение, его тонкая наблюдательность, наконец превосходный по ясности язык составляют отличительные достоинства этих выпусков и показывают, как мог бы Боткин обогатить нашу литературу, если бы имел хоть немного больше свободного времени.

Помимо этих произведений и публикации некоторых статей в разных медицинских газетах, помимо его прекрасной академической речи «Общие основы клинической медицины», написанной для акта в академии в 1866 году, и других небольших трудов упомянем еще об основании им «Эпидемиологического листка». Все около того же времени, а именно в 1866 году, ввиду приближения к Петербургу холеры Боткин задумал учредить эпидемиологическое общество, предложив председательство в нем Е. В. Пеликану как лучшему тогдашнему русскому эпидемиологу. Общество было основано не только с теоретической целью изучения эпидемии, но и с практическими задачами организации врачебной и денежной помощи пострадавшим; оно издавало около двух лет под редакцией Ловцова «Эпидемиологический листок», в котором Боткин принимал деятельное участие, публикуя небольшие сообщения. Однако и общество и листок просуществовали недолго вследствие равнодушия к ним врачей, понятного в те времена, когда вопросы эпидемиологии были еще мало разработаны и интересовали только весьма немногих.

Наконец, в конце 60-х годов Боткин предпринял издание сборника под названием «Архив клиники внутренних болезней профессора Боткина», в котором решил помещать все лучшие и наиболее интересные работы, произведенные его учениками в клинической лаборатории. Сборник этот выходил по мере накопления материала, и всего было выпущено 11 более или менее объемистых томов; из них первый том появился в 1869 году, а последний – в 1887-м. В сборнике этом имеется много замечательных данных по экспериментальной разработке самых разнообразных

клинических вопросов, и, хотя в нем нет ни одной статьи, принадлежащей непосредственно самому Боткину, но и он также свидетельствует о его неутомимой деятельности, потому что все почти без исключения помещенные в нем труды принадлежат его личному почину, совершены под его руководством и прошли через его окончательную редакцию.

Глава V

*Придворная служба. – Поездка на театр военных действий. –
Ветлянская эпидемия. – Юбилей. – Деятельность в качестве гласного
думы. – Председательство в комиссии оздоровления России. – Занятия в
петербургских богадельнях*

Вследствие непрерывной работы и отсутствия всякой упорядоченности крепкое здоровье Боткина опять стало расшатываться: сильный приступ желчной колики, случившийся зимой 1867 года, заставил его обратить на себя более серьезное внимание, – с тех пор он пять лет подряд посещает Карлсбад и при помощи целебных вод и более строгой диеты снова приводит себя в порядок.

Зимой 1872 года его деятельность еще значительно осложнилась приглашением стать личным врачом императрицы Марии Александровны и назначением его лейб-медиком. Эти новые обязанности весной того же года заставили Боткина покинуть на время Петербург и сопровождать царственную пациентку в Ливадию; поездка дала ему случай впервые и основательно познакомиться с южным берегом Крыма, и природные красоты и климатические условия края привели его в восторг. «Но, – писал он, – живописность Крыма, прелестный его климат стоят в неимоверном контрасте с отсутствием всего похожего на комфорт для злополучного путешественника. Как больничная станция он, по моему мнению, имеет большую будущность, лишь бы появились те необходимые удобства, без которых сюда невозможно посылать больных с кошельком среднего размера. Пока же он доступен или очень богатым, или людям, не отравленным европейским комфортом, но со временем займет место значительно выше Монтре, хотя никогда не перегонит Ментоны».



С. П. Боткин – лейб-медик. 1878.

Звание лейб-медика время от времени прерывало его клинические занятия; так, позднее он должен был провести с императрицей две зимы на побережье Средиземного моря, а именно с 1874-го на 1875 год в Сан-Ремо и зиму на 1880 год – в Каннах. Пациенты толпою осаждали его и там; конечно по большей части то были русские, но обращались и иностранцы, и в числе последних была, между прочим, жена принца Амедея, брата теперешнего короля Италии. В Сан-Ремо же ранней весной 1875 года его постигло первое и глубокое горе в личной жизни: там скончалась его жена, первый и лучший друг; она была всегда слабого и хрупкого здоровья, непрерывно хворала, наконец, может быть, вследствие частых родов у нее развилось острое малокровие, которое и свело ее в могилу. Горе Боткина было сильным, подавляющим, но постоянный труд и время скоро заживили

эту рану, и менее чем через полтора года после смерти первой жены он женился на вдове Е. А. Мордвиной, урожденной княжне Оболенской.



С. П. Боткин и Е. А. Боткина. 1878.

Вспыхнувшая в 1877 году русско-турецкая война снова увлекла его из Петербурга, и он в мае поехал по званию своему лейб-медика в свите императора на театр военных действий и провел на нем безвыездно около семи месяцев, передвигаясь с императорской квартирой с места на место: из Плоешти – в Зимницу, Павлово, Бела, Горный Студень, Парадим. Везде он постоянно ходил по военным госпиталям и лазаретам, помогал советами и снова пережил ощущения душевной муки и часто бессильного желания облегчить тяжелое положение больных и раненых, страдавших от неурядицы военного времени и неудовлетворительной организации военно-санитарной части, то есть пережил все то, что ему пришлось еще юношей испытать в Крымскую войну в Симферополе. Конечно, разница в постановке военно-медицинского дела в период между этими двумя войнами произошла весьма заметная: лазаретов было открыто несравненно больше и снабжены они были всем необходимым более доброкачественно и

в достатке, эвакуация совершалась правильнее и целесообразнее, помощь Красного Креста и частной благотворительности (из них первой вовсе не существовало в 1850-х годах) теперь приняла широкие размеры, – медицинский и санитарный персонал много выиграл и в отношении образования, даже в отношении самоотверженности врачей; но вместе с тем оставалось еще желать многого, и сердце Боткина, отзывчивое всегда на людские страдания, мучилось вдвойне, и как врача, и как гражданина, когда ему приходилось видеть беспомощность больных и раненых воинов и сталкиваться с неумелостью, с поверхностным и равнодушным отношением администрации к положению страдальцев и, что хуже всего, с различными ее злоупотреблениями. Ему приходилось то и дело во многом разочаровываться: «...вообрази, я – по натуре блондин, а теперь начинаю делаться брюнетом», – так образно выражается он в одном из писем, рассказывая о своих впечатлениях военного времени. Нам случилось прочесть многие из его писем с войны к жене, изложенных в форме дневника и написанных просто, без всякой обработки и без малейшей претензии на огласку, как пишутся письма к близкому человеку, – и мы были поражены их безыскусственной прелестью и талантливой наблюдательностью, сообщающими им немалое литературное достоинство, не говоря уж о том, что они лучше всяких сторонних прикрас обрисовывают нравственные качества Боткина как человека. Вдова покойного, Е. В. Боткина, с величайшей готовностью дала нам право воспользоваться этим материалом; к сожалению, размеры нашего очерка и боязнь не в меру растянуть военный эпизод в мирной жизни Боткина не позволяют нам сделать этого, и мы приведем здесь только один небольшой отрывок из этого дневника, высказывая при этом наше горячее желание увидеть его поскорее полностью напечатанным как ввиду его биографического интереса, так и интереса исторического.

«Горный Дубняк, 19 августа 1877 г. Вчера так был измучен, что не мог дописать того, что хотел. Вчера пришлось три раза побывать в госпитале; утром отправился, как обыкновенно, посмотреть больных, после завтрака объявили, что пришел транспорт раненых в 169 человек. Тотчас же поехал, чтобы увидеть воочию больных еще на телегах, неумытых, замученных от переезда 40 верст на арбах по скверным дорогам. Тяжелое впечатление, которое с непривычки даже и нашего брата-врача забирает. С переломами бедер, со сквозными ранами груди переносят перевязку очень тяжело; один со сквозной раной груди тотчас же по приезде начал кончаться, другой, вероятно тифозный, тоже почти умирал. Да, это – тяжелый вид; у меня не раз навертывались слезы, слушая эти стоны и смотря на этих людей,

изнемогающих от ран, от солнца, от тряски, от усталости. Часа через два, когда всех уложат по постелям, переменят белье, умоют, напоят, – конечно, картина в тех отделениях, где раненые полегче, меняется, завязываются беседы, люди здороваются, веселы, охотно рассказывают подробности битвы, в которой были ранены. Все прибывшие были от 14 числа из дела Воронцова; такого подбора тяжелораненых еще не встречалось, у многих встречалось по две и даже по три раны, почти все раны огнестрельные, – или пулями, или картечью. Восемь было привезено ампутированных, девятого ампутировали сегодня утром. Я смотрел, как подвозили телеги к палаткам и как вынимали этих несчастных; все это делалось в высшей степени добросовестно и скоро, и транспорт почти в 200 человек больных был уже весь размещен почти в один час времени; чуть не каждого раненого нужно было поднимать четверем санитарам. Как своеобразно рисуются при этом раненые солдатики; лежит, например, в телеге солдатик с раной в ногу, подходят его вытаскивать, – с каким вниманием следит он за своим бедным скарбом, который вытаскивается из его телеги, узелок, другой, ранец; „вот, вот забыли“, – кричит он и тянется в угол телеги за манеркой; когда все его имущество вынесено, он спокойно передает и самого себя на руки санитаров: „Осторожнее, земляки, осторожнее, вот так, ногу-то повыше; ой, ой, зачем опустил“ – и т. д. Зайдешь через полчаса в палатку, все разместились, кто моется, кто пьет, а кто стонет еще от боли в ране; через час уже немного пободрее – и водочки выпили, а кто и чаю напился. Между прочим солдатским скарбом вчера у одного больного я услышал в мешке живую курицу, которую он дотащил до лазарета. Не могу тебе передать, до какой степени симпатичны мне наши раненые: сколько твердости, покорности, сколько кротости, терпенья видно в этих героях, и как тепло и дружно относятся они друг к другу, как утешаются они в своем несчастии тем, что вытеснили или прогнали „его“. Сегодня под хлороформом молодой солдатик все бредил неприятелем: „Это наш, это наш, – кричал он, – сюда, сюда“ и прочее; наконец при более сильной наркотизации он запел песню (вероятно, был запевалой) во все горло и пел, пока не заснул вполне. Больные привозятся с ружьями, и нередко тифозный без сознания при вытаскивании из телеги первым вопросом делает: „Где мое ружье?“ Госпиталь расположен вдоль речки в кибитках, в каждой из них помещается по восьми человек, одна кибитка от другой по крайней мере в 12 шагах. Можешь себе представить, сколько пришлось вчера исходить, переходя во время приема транспорта из одной кибитки в другую, возвращаясь опять в первые, и т. д.»

Вернувшись в конце ноября в Петербург, где об его отсутствии

горевали и в клинике, и среди больных, Боткин с наслаждением набросился на свои привычные занятия и поработал так усердно, что летом для восстановления сил должен был съездить опять на морские купания в Трувилль. В том же году он был избран председателем старейшего нашего медицинского общества – «Общества русских врачей в С.-Петербурге» – и нес эту обязанность вплоть до самой смерти.

В последующую за тем зиму, в конце 1878 года, посетила приволжский край левантийская чума, к великому счастью для России ограничившаяся небольшим пространством и по месту наибольшей своей интенсивности вошедшая в историю медицины под названием «ветлянской чумы». Для полноты настоящего очерка необходимо упомянуть о ней, потому что эпидемия эта вовлекла Боткина в тот весьма неприятный инцидент, который чрезвычайно тяжело отразился на нем нравственно и физически и связал его имя с именем дворника Наума Прокофьева. Сущность данного инцидента в том, что Боткин в начале 1879 года подметил при обследовании многих своих городских и клинических больных необычно частое опухание лимфатических желез по всему телу и, поставив его в связь с «ветлянской эпидемией», полагал, что такая патологическая особенность служит признаком дальнейшего распространения чумы и возможного заноса ее в Петербург. Вскоре после этого ему представился в клинической амбулатории больной – дворник Наум Прокофьев, – у которого быстрое опухание желез всего тела было выражено особенно сильно, и Боткин, подробно проанализировав случай в присутствии студентов, признал его настолько сомнительным, что счел необходимым подвергнуть больного самому всестороннему наблюдению и строжайшему отделению от остальных больных. Диагноз чумы поставлен был публично, и беспристрастие биографа заставляет нас признать, что в этом случае Боткин поступил чересчур поспешно и опрометчиво, не взвесив последствий оглашения факта такой потрясающей общественной важности, а только руководствуясь его научным интересом. Весьма естественно, что известие об этом в тот же день с быстротою молний разнеслось по столице и произвело страшную панику, – имя Боткина было слишком авторитетно, чтобы сомневаться в диагностике, и огромное большинство приняло ее как официальное признание появления «ужасной гостии» в Петербурге. Но когда прошло несколько дней и состояние Наума Прокофьева вместо ожидаемого ухудшения стало постепенно улучшаться, тревога в городе улеглась, зато печаль с яростью обрушилась на Боткина, и его славное и ничем до сих пор не запятнанное имя, которым так справедливо гордилась Россия и русская наука, сразу сделалось мишенью

ежедневных нападков и самых обидных оскорблений, доходивших до нелепости: его обвиняли и в отсутствии патриотизма, и в каком-то заговоре с англичанами, а Катков в «Московских ведомостях» утверждал, что Боткин напустил тревогу исключительно ради спекуляции, чтобы уронить на бирже курс рубля и сыграть на его понижение. Несколько недель продолжалась эта жестокая травля, – и как ни велико было самообладание Боткина, как ни старался он бодриться и замкнуться в сознании честно и профессионально исполненного долга, повторяя себе и близким известное изречение Галилея: «E pur si muove!»,^[2] она произвела на него глубокое, неизгладимое впечатление; он лишился сна, аппетита, все его нравственное существо было потрясено, потому что тут впервые его детски доверчивое и благодушное отношение к людям встретилось с людской жестокостью и несправедливостью в той их грубой и стихийной форме, которая мгновенно перечеркивает все прежние заслуги человека и без всякой пощады предаёт казни вчерашнего кумира. Сам Боткин до конца жизни, по всей видимости, сохранил убеждение, что все тогдашние нападки были несправедливы, что диагностика его была верна, что Наум Прокофьев и все остальные больные, у которых наблюдались аналогичные явления, носили на себе несомненные признаки предвестников чумной эпидемии, и если болезнь не развилась у них в полную и ясную картину, то только потому, что очаг эпидемии на Волге быстро потух благодаря частью энергичным мерам правительства, частью – тому, что в воздухе произошли неуловимые атмосферные изменения, неблагоприятные для доразвития и распространения эпидемии, и она приостановилась в Петербурге. Прав он был или не прав? – решить могут только позднейшие наблюдения, если встретится крайне нежелательная возможность произвести их снова при подобных же условиях.

Но если этот эпизод оставил неизгладимый след на здоровье Боткина, как есть основание предполагать, то едва ли нравственное впечатление от него могло остаться долго в нем, потому что общество не только скоро забыло историю с Наумом Прокофьевым и продолжало обращаться за помощью к своему незаменимому консультанту и врачу, но доказало ему самым ярким и очевидным образом, как высоко и горячо ценит его заслуги и достоинства. В 1882 году почитатели и ученики Боткина задумали устроить празднование 25-летия его деятельности, и как ни старался он по скромности отклонить от себя всякие внешние манифестации, оно произошло 27 апреля и отличалось необыкновенной импозантностью вследствие стечения на него при совершенном отсутствии официального участия такой многочисленной публики, какая едва ли когда-нибудь до того

собиралась на наших юбилейных торжествах. Происходило торжество в здании городской думы, в число гласных которой Боткин незадолго перед тем был выбран; здесь тянулась *такая* длинная вереница поздравлений от различных учреждений, обществ и лиц, что, приехавши в думу в 11 часов утра, юбиляр должен был до половины четвертого выслушивать обращенные к нему адреса и речи с самой лестной оценкой его заслуг и трудов; он был чрезвычайно взволнован и сильно сконфужен, тем более что, находя по своей природе главный смысл своей жизни в труде и не будучи в состоянии обходиться без него, считал все эти похвалы в действительности незаслуженными и преувеличенными. В тот же вечер состоялся юбилейный обед по подписке, на котором участвовало около 400 человек и между ними, кроме врачей, находились все видные представители столичной образованной среды. На обеде получено было множество поздравлений из разных концов России, показавших, какой сочувственный отголосок встретил и в провинции почет, возданный знаменитому юбиляру; все университеты и большинство ученых обществ, в которых он не состоял еще почетным членом, послали к этому дню ему дипломы о награждении этим званием. Здесь кстати отметить, что в конце своей жизни Боткин состоял членом 33 учреждений и ученых обществ, и в том числе 9 иностранных.

С 1881 года к многосложным и постоянным занятиям Боткина прибавилось новое дело, на которое он затратил значительную долю последнего восьмилетнего периода своей жизни со свойственными ему добросовестностью и бескорыстием, – то была его служба в звании гласного Петербургской думы, связанная с разработкой множества разнообразных вопросов по организации больничной и врачебной работы. Эта деятельность Боткина была так богата для города благотворными результатами, что дума по предложению городского головы В. И. Лихачева нашла достойным увековечить память его после смерти установкой его портретов как в зале думы, так и в восьми городских больницах, и, кроме того, одной из этих больниц, именно городской барачной, присвоить имя Боткинской. Чтобы познакомиться с этой стороной деятельности Боткина, мы считаем необходимым привести довольно длинную выдержку из доклада городского головы по поводу предложений от 29 января 1890 года, потому что голос такого компетентного судьи, подкрепленный утверждением выборного представительства столицы, лучше всякого другого способен оценить заслуги Боткина перед жителями Петербурга. Напомнив об обстоятельствах, вызвавших строительство в 1880 году барачной больницы, и о состоявшемся в том же году решении

правительства о скорейшей передаче больниц в ведение города, г-н Лихачев продолжает:

«До 1881 года в среде гласных Петербургской городской думы не было врачей. Для врача городские, общественные дела, имевшие до того времени исключительно хозяйственный характер, представляли мало специального интереса. Но как только передача в ведение города больничного и санитарного дела становилась близким к осуществлению фактом, то можно было ожидать, что и врачи не будут уклоняться от избрания в гласные думы. Однако все интересующиеся городскими делами обыватели столицы сознавали, что в данном случае было желательным, чтобы в составе гласных находился врач, пользующийся веским авторитетом. Вследствие этого многие из гласных думы и в особенности из членов городской комиссии общественного здоровья выражали желание видеть в составе городского управления такое высокоавторитетное в медицинском мире лицо, как С. П. Боткин, который стоял в это время в списке городских избирателей на четырехлетие (1881–1885). О таком желании ему было заявлено».

Относясь серьезно к обязанностям представителя городского населения, С. П. Боткин не сразу решился принять на себя звание гласного и в ответ на предложение поставить свое имя в список кандидатов в гласные городской думы выразил опасение, что прямые его занятия будут мешать ему исполнять новые обязанности. Вот что писал он бывшему председателю комиссии общественного здоровья В. И. Лихачеву 21 марта 1881 года: «Долго колебался я, прежде чем решился дать согласие и не отказываться от выбора в гласные. Взять на себя еще новую обязанность при той массе занятий, которые у меня на руках, – право, нелегко, тем более что не чувствуешь в себе достаточно сил, чтобы добросовестно выполнить еще новое дело. С другой же стороны, совестно и уклониться от должности, в которой, может быть, принесешь какую-нибудь пользу». При этом Боткин счел необходимым выразить надежду, что к нему отнесутся снисходительно и дадут возможность принимать участие в общественных делах только в тех случаях, когда его содействие действительно может быть полезно.

«В 1881 году С. П. Боткин был избран в первый раз в гласные думы и затем членом и заместителем председателя комиссии общественного здоровья. Вступив в состав городского управления, С. П. Боткин уже не мог не принимать горячего участия в окончательном устройстве и обзаведении городской барачной больницы и по постановлению думы 15 января 1882 года сделался ее попечителем по врачебной части. Барачная больница с того времени сделалась любимым детищем С. П. Боткина, в нее он вложил

свою душу; при своих посещениях больницы, нередко лично осматривая и исследуя тяжелых больных, Сергей Петрович, одно появление которого успокаивало и ободряло страждущих, собственным примером учил, как должен относиться врач к больному человеку, для того чтобы приобрести его доверие и облегчить его страдания. Для барачной больницы Сергей Петрович не жалел ни своего дорогого времени, ни своего драгоценного труда и даже разъездные деньги, полагавшиеся ему от города как попечителю, затрачивал целиком на улучшение тех сторон научной обстановки больницы, которые для людей, не посвященных в науку, могли казаться излишней роскошью: таковы, например, лаборатория и кабинеты, не раз впоследствии доказавшие свою несомненную пользу при исследовании различных заразных начал, при исследованиях воды и прочего. Клинические методы исследования и лечение больного сделались возможными и удобоприменимыми на практике даже в городской больнице, – результаты лечения стали получаться совсем иные. Барачная больница практически решала ту задачу, которую теоретически разрешила и наметила городская комиссия общественного здоровья в своем докладе о передаче больниц городу».

Далее г-н Лихачев рассказывает, как избранный в 1886 году почетным попечителем всех городских больниц и богаделен, Боткин не замедлил осмотреть больницы и, определив все, что в постановке их было неудовлетворительного, указал на многое, что необходимо было немедленно улучшить и реорганизовать, и вследствие этих указаний «в руках городского общественного управления принятые больницы в весьма короткое время заметно улучшились и результаты лечения стали получаться более успешные, хотя и при попечительном совете в среднем выводе затраты на каждого польвованного больного мало чем разнились от теперешних. Достижению такого состояния больниц и притом в короткое время весьма много содействовало участие С. П. Боткина в городском общественном управлении. Все городские деятели в его присутствии чувствовали уверенность, что больнично-санитарное дело ведется в должном направлении, и этой уверенности не могли поколебать никакие, откуда бы они ни исходили, нападки на это дело.

Санитарное дело уже по своему существу не могло быть чуждым С. П. Боткину как современному клиницисту, и он всегда охотно принимал участие в обсуждении санитарных вопросов, соприкасавшихся с врачебной помощью заболевшим. Когда в конце 1881 года врачебная община, наблюдавшая за школьно-санитарным надзором в городских училищах, решительно отказалась продолжать вести дело в 1882 году за сумму,

ассигнованную на этот предмет думою, то городская училищная комиссия вынуждена была немедленно организовать свой особый школьно-санитарный надзор. Приглашены были для того пятеро женщин-врачей, так как средства были слишком скудны, и из врачей-мужчин желающих взяться за это дело не находилось. На медикаменты было ассигновано думою всего 500 рублей – сумма крайне ничтожная; на каждую школу причиталось всего по несколько рублей. В это время уже разгоралась эпидемия скарлатины и дифтерита, в особенности среди детского населения Петербурга. Необходимо было снабдить школьных врачей аппаратами для исследования горла и для применения лекарственных веществ, снабдив их в то же время ручными небольшими аптеками. Каталог медикаментов мог быть составлен только самый ограниченный, способный вызвать улыбку у врачей-практиков, привыкших выписывать лекарства сразу на несколько рублей для одного больного. Обсуждать подобный каталог медикаментов С. П. Боткин не только не отказывался, но даже принял самое живое участие в прениях, терпеливо выслушивал возражения, как бы они ни были неосновательны, только изредка делал меткие указания, в чем должно заключаться истинное призвание врачей, в особенности школьных. И после того, приняв на себя звание председателя субкомиссии по школьно-санитарному надзору, он охотно посещал ее заседания, и, несомненно, ему обязано это благое дело постановкою на правильных, разумных основаниях».

Далее в своем докладе г-н Лихачев рассказывает о борьбе с эпидемиями дифтерита и скарлатины, вспыхнувшими в Петербурге весной 1882 года; со стороны думы потребовалась широкая организация врачебной помощи низшим слоям населения, и комиссия общественного здоровья выработала план такой помощи, установив повизитную плату врачам за посещение больного на дому в 30 копеек, а в ночное время – в 60. Размер такой малой повизитной платы противоречил корпоративному духу и традициям врачей-практиков и, конечно, не находил в них сочувствия. Тем не менее, Боткин согласился с основательностью доводов комиссии и присоединил свой голос в пользу проекта, подвергаясь за это несправедливым нареканиям. Ради блага нуждающегося населения он решился навлечь на себя временное неудовольствие врачей-практиков, надеясь, что думские врачи оправдают возложенные на них ожидания, что и подтвердилось на деле в весьма скором времени. Борьба с эпидемией дифтерита и скарлатины при совместных усилиях столичной администрации и городского общественного управления, при содействии практикующих в Петербурге врачей увенчалась полным успехом, а

благодаря рациональному распределению врачебных сил и средств под руководством С. П. Боткина потребовала со стороны города небольшой денежной затраты.

«Во все время своего почти девятилетнего пребывания в составе городского общественного управления С. П. Боткин не переставал принимать самое горячее участие во всех вопросах, касающихся оздоровления столицы путем санитарных мероприятий и улучшения больничного дела, вникал в подробности вырабатывавшихся проектов новых больниц, следил за более целесообразным распределением больных, в особенности хроников, по лечебным заведениям, советуя при первой к тому возможности выделить хроников и неизлечимых в особую больницу, для чего он признавал наиболее подходящим главный корпус Петропавловской больницы».

Таким образом, из приведенных выдержек мы видим, что это осложнение деятельности Боткина обязанностями гласного только подтвердило, какой неистощимый запас умственной рабочей энергии хранился в нем, и, несмотря на то, что вскоре физическое здоровье его начало расстраиваться, он не только не уменьшал своего труда, а, скорее, увеличивал разнообразие его, так как количественно это сделать было вряд ли возможно за невозможностью расширить рамки трудового дня... Будучи занят как клиницист, как лучший столичный врач, как лейб-медик, как городской гласный в области вопросов его специальности, он в то же время беспрестанно участвовал в разных комиссиях, вел медицинскую газету и проч., – и везде, во всяком деле продолжал проявлять то же не слабеющее увлечение, ту же безукоризненную добросовестность, тот же свежий организаторский талант, какие поражали в нем при начале его поприща. Как видим из доклада г-на Лихачева, все эти качества ярко выразились и в его думских больничных занятиях. Городские больницы тотчас же стали близким, родным предметом его забот, особенно когда вскоре во главе их в звании старших врачей выступили Соколов, Альшевский, Нечаев, Сиротинин, Васильев и другие бывшие ученики, глубоко преданные ему и его школе, совершенно солидарные с ним во взглядах на больничное дело и знавшие истинную цену его мудрых советов и замечаний; они и теперь при всяком экстренном затруднении, медицинском или административном, шли к нему и всегда встречали в нем неизменную готовность помочь и словом и делом. Самою же любимую его из этих больниц сделалась барачная, так как он больше всего участвовал в ее устройстве и в ней, как в самой новой, осуществлялся ближе всего его идеал больницы: в ней находились все нужные приспособления для исследования, сам врачебный персонал был

знакомее, потому что вербовался из молодых и недавних его учеников, в любви к делу которых он не сомневался, так что на этой больнице лежала свежая, не тронутая временем и рутиной печать его клиники и школы. Сюда он приезжал аккуратно раз в неделю не для беглого обхода, а оставался от трех до четырех часов, входя во все подробности, особенно врачебные, до того, что, как в клинике, знал всех интересных больных, следил за ходом их болезни и участвовал своими советами в лечении. И посещения как клиники, так и этой больницы он делал не во исполнение только своего формального долга, а по чувству привязанности и живого интереса к хорошо организованному больничному делу, – вот почему не раз при отъезде из барачной больницы он говаривал, что эти продолжительные посещения нисколько не утомляют его, а напротив, доставляют ему величайшее наслаждение.

В 1886 году Боткин был призван к решению новой задачи, грандиозной по замыслу, но, увы, оказавшейся, невыполнимой при настоящем положении вещей, – к председательствованию в комиссии, учрежденной при медицинском совете, по вопросу об улучшении санитарных условий и уменьшению смертности в России. Учреждение этой комиссии обязано своим происхождением представлению министру внутренних дел заключений, принятых в обществе русских врачей в Петербурге под председательством Боткина и по докладу доктора Экка, о чрезмерной смертности в России. Из данных за последние годы, сгруппированных доктором Экком, явствовало, что смертность у нас значительно превосходит смертность в других европейских странах и, составляя 35 смертей на тысячу человек в год, уносит из каждой тысячи населения на 10 человек больше, чем в Германии; на 15 больше, чем во Франции; на 16 – чем в Англии, и, наконец, чуть не на 20 человек больше, чем в Норвегии. На основании этих точных данных сравнительной статистики и представлены были министру заключительные выводы Общества русских врачей, обращавших внимание центральной власти на то, что смертность у нас есть насильственная, а не естественная, и что борьба с нею составляет нашу первую государственную потребность для поднятия благосостояния населения повышением его рабочей способности. Учреждение комиссии с таким первостепенным и гуманным деятелем во главе, как Боткин, возбудило у врачей и во всех русских образованных людях радостные ожидания на улучшение состояния санитарии в России и с первого же заседания показало, что она взглянула широко на поставленную перед ней задачу, заявив о необходимости коренного преобразования существующих административных инстанций,

заведующих санитарными вопросами, и предложив заменить их учреждением Главного управления по делам здоровья. «Без реорганизации администрации врачебно-санитарных учреждений, – высказался один из членов комиссии, покойный профессор Доброславин, – не только невозможно что-нибудь сделать для улучшения санитарного положения населения, но невозможно и рассуждать о том за полным отсутствием данных, на коих таковые рассуждения могли бы опираться». Но так как подобная реорганизация не входила по крайней мере в ближайшие намерения правительства, то заседания комиссии утратили в дальнейшем своем ходе всякую твердую, реальную почву под собою и свелись к обсуждению частных, второстепенных мер, слишком мало оправдывавших ее громкое назначение. Ей так-таки и не удалось выйти из своего подготовительного периода, и, протянув три года чахлое существование, на оживление которого Боткин потратил немало драгоценного времени, не будучи в состоянии добиться сколько-нибудь практических результатов, она умерла вследствие отсутствия всяких условий для ее существования. Надо было знать, как горячо взялся Боткин за предложенную задачу, чтобы понять его горечь и разочарование при ее неудаче. Некоторую пользу лично для себя он, пожалуй, извлек из этого труда, познакомившись короче при разработке собранного материала с врачебною деятельностью земств, – это знакомство расширило его взгляды на значение общественной самодеятельности, фактически доказав ему, что даже в специальном деле улучшения санитарных условий, то есть там, где вверенная его руководству комиссия потерпела такое полное крушение, многие земства со своими ограниченными материальными, интеллектуальными средствами, стесненные в правах инициативы, начинают достигать медленного, но заметного успеха благодаря настойчивой и сознательной работе на общее благо и достигают этого прежде всего с помощью организации более рационального народного образования, так как подъем культуры делает народ более доступным для врачебной помощи и более восприимчивым к распространению среди него здравых санитарных и гигиенических понятий и мер.

Отдаваясь изучению малознакомых ему прежде вопросов общественной медицины, городской и сельской, Боткин делал это никак не в ущерб клиническому преподаванию, которому продолжал служить с прежней юношеской страстью. С тем же неостывающим прилежанием следил он за колоссальным развитием европейской науки, подхватывал на лету всякую новую плодотворную мысль или новое открытие, подвергал их своему критическому анализу и, убедившись в жизненности и значении,

старался развивать дальше, чтобы сделать достоянием слушателей. Известно, какое огромное практическое значение за последние годы приобрело благодаря открытиям Пастера и Коха и трудам их последователей учение о микробах, изменившее понятие о сущности многих болезней, – и поседевший уже, но вечно неутомимый наблюдатель и работник Боткин, пользуясь летним отдыхом на даче, проводит целые часы над микроскопом и, напрягая свое слабое зрение, старательно изучает этих вновь открытых «врагов человечества». «Теперь я засел, – пишет он в письме от 4 августа 1885 года из Финляндии, – за литературные штудии микробного мира, который действует на меня угнетающим образом; микробы начинают одолевать старого человека в буквальном смысле слова; на старости лет приходится ставить свои мозги на новые рельсы. Без сомнения, мы переживаем в медицине тот период увлечения, какому подлежит всякое новое направление, имеющее большую степень значения; нам пришлось начать изучение медицины с абсолютных истин Рокитанского, потом мы променяли их на клеточную теорию Вирхова, а теперь надо совершенно серьезно считаться и с микробами, из-за которых начинают забывать не только клинику, но и патологическую анатомию тканей, забывают значение реакции организмов на микробов». Несмотря на такой несколько скептический тон и в отношении к своим силам, и к микробам, стареющий ученый и на этот раз не дал себя одолеть последним и, отлично изучив и усвоив себе новое учение, отвел ему подобающее и весьма выдающееся место в своем преподавании.

Наконец, впечатлительная и нестареющая ясность этого пытливого ума прекрасно проявилась буквально за несколько месяцев до смерти Боткина в разработке поднятого им вопроса о естественной и преждевременной, вследствие болезней, то есть о физиологической и патологической старости. Само возбуждение этой интересной и оригинальной темы настолько дополняет представление об инициаторской способности Боткина к постановке новых наблюдений и умению подойти к наивозможно практическим выводам из них, что мы позволим себе заимствовать рассказ о том из труда доктора Кадьяна «Население С.-Петербургских градских богаделен», вышедшего в 1890 году и посвященного памяти Боткина. В феврале 1889 года среди призреваемых городских богаделен обнаружено было три случая сыпного тифа; Боткин как почетный попечитель заехал в богадельни, чтобы прояснить для себя причину появления эпидемии, и при этом обратил внимание на недостаточность числа врачей, полагаемых при учреждении (их там было всего двое); немедленно же об этом он уведомил городского голову,

указывая на необходимость увеличить медицинский персонал и предлагая начать с того, чтобы пригласить десятерых опытных врачей для предварительного осмотра всех призреваемых и выделения больных в особую группу. Больничная комиссия нашла ходатайство Боткина заслуживающим полного уважения и просила его самого принять на себя труд общего наблюдения и руководства занятиями десяти командированных врачей, предоставив выбор их на его усмотрение. Боткин отобрал надежных молодых врачей, пригласил их к себе и, познакомив с предстоящим делом, особенно развил перед ними мысль, что не следует ограничиваться простым осмотром больного и дряхлого населения богаделен, а надо обстоятельно осмотреть всех призреваемых ввиду научного интереса, представляемого исследованием большого количества лиц в состоянии глубокой старости, – и тут же была составлена самая подробная программа, включающая не только патологические отклонения, но и те физические, какие старческий возраст приносит организму.

Здесь мы предоставим слово доктору Кадьян, которому поручено было разработать собранный таким образом материал; его слова нам дороги как слова очевидца этой последней, предсмертной работы Боткина, ибо показывают, до какой степени и тут, когда болезнь уже точила его силы, он вполне сохранял свою способность горячо отдаваться всякой новой научной цели, если посредством ее надеялся достигнуть положительных результатов для науки и человечества, и как умел в то же время своим искренним и серьезным отношением к предпринятому делу воодушевить всех своих сотрудников. Так, например, его увлечение делом в данном случае передалось не только участвовавшим врачам, но даже расшевелило и тех стариков, которые доживали свой век в богадельнях. «Дошедшие до богадельни слухи о предполагавшемся осмотре, – говорит доктор Кадьян в предисловии к изданному труду, – возбудили некоторое беспокойство среди стариков и особенно старух; им представлялось, что будут производить над ними страшные опыты: весить, мерить, раздевать чуть не донага, исследовать все органы и прочее. Администрация богадельни, имея в виду такое враждебное отношение призреваемых к исследованию, и сама стала относиться к нему с опасением. Но как только появился в богадельне С. П. Боткин, когда призреваемые познакомились с молодыми врачами, присланными для их исследования, то все страхи, всякие предубеждения исчезли сразу. Вполне гуманное обращение командированных врачей со стариками и со старухами, готовность их потолковать о болезни и дать медицинский совет привлекли к ним симпатии населения богадельни. Во все время, пока происходило исследование, не было ни одного

недоразумения, ни одного неприятного столкновения между врачами и призываемыми, все шло тихо и спокойно. Отказов от осмотра не было совсем, кроме одного случая – старухи 79 лет, но ввиду 2600 осмотров об одном не стоит и говорить».

Далее доктор Кадьян рассказывает, как общий интерес, возбужденный этой работой, охватил не только высший персонал богадельни, надзирателей и надзирательниц, но даже среди «богадельщиков» нашлись такие, которые взялись охотно помогать врачам, взвешивать товарищей и вообще оказывать посильные услуги, и благодаря такому дружному содействию вся эта сложная работа была закончена в месяц с небольшим. «Принимая поручение, – продолжает доктор Кадьян, – возложенное на меня городской комиссией, разработать материал, полученный от исследования, я рассчитывал, что моим руководителем будет Сергей Петрович Боткин, что он даст моему труду направление наиболее плодотворное и под влиянием его указаний получатся выводы более или менее важные, во всяком случае интересные; что он, так сказать, одухотворит всю работу, даст жизнь и значение статистическим цифрам. Моя надежда на это еще более усилилась, когда я увидел на деле, с каким интересом С. П. Боткин относился к исследованию стариков и старух: он часто приезжал в богадельню, внимательно следил за работой молодых врачей, разрешал их недоразумения, делал им различные указания, обращал их внимание на спорные вопросы в отношении старости, на те явления, которые заслуживают изучения и представляют особенную важность и интерес. Сергей Петрович зачастую по целым часам развивал перед нами свои взгляды на старческие изменения, совершающиеся в организме; излагал свои соображения о старости, все учение о которой ему представлялось незаконченным, неразработанным, явления старости далеко не изученными. Контора богадельни обращалась в аудиторию, и профессор Боткин прочитывал целые лекции, такие же ясные, вразумительные и прекрасные, как и те, которыми мы заслушивались, еще будучи студентами. Жаль, что они не записаны».

Приведенная выдержка не только лишний раз подтверждает неутомимую деятельность Боткина и то страстное и в то же время настойчивое, а не скоро охлаждающееся отношение к предпринятому делу, какие он вносил во множество работ, задуманных им в течение 30-летнего профессорского поприща, – притом она фактически доказывает нам его великое значение как ученого и объясняет, почему его преждевременная смерть представляет такую тяжелую и незаменимую потерю для науки. Так, в данном случае мало того, что почин труда принадлежит целиком

Боткину, что он сам организует его и деятельно содействует его исполнению подробными указаниями, – опубликованные результаты служат ясным свидетельством, что затеянная и исполненная работа потеряла из-за его смерти в значительной степени тот научный смысл, который получила бы, если бы была окончена при его жизни. Мы можем только догадываться, что, предпринимая это исследование, Боткин наметил себе уже некоторые вопросы, которые имел в виду разработать и выяснить при его помощи; так, с этой целью он обратил особенное внимание на изучение у богадельщиков старческой одышки и подвижности сердца в старческом возрасте, поручив специально исследовать их двум из участников – докторам Кудревецкому и Волкову. Но одухотворитель работы умер, а с ним погибла и разработка этих вопросов; в результате получился почтенный труд, богатый цифровым и старательно подобранным материалом, но материалу этому долго суждено оставаться в сыром виде, потому что для его окончательной обработки и извлечения из него необходимых выводов нужен был сам Боткин с его наблюдательностью, с его широким обобщающим умом, с огромными знаниями, а сочетание всех таких свойств в одном лице является у нас пока весьма редким исключением. Так эта предсмертная работа Боткина и остается недопетой лебединой песнью нашего ученого.

Глава VI

Первые признаки болезни. – Потеря маленького сына. – Поездка в Биарриц. – Пребывание в Париже. – Поездка на Принцезы острова. – Ухудшение здоровья. – Пребывание на юге Франции. – Смерть

Таким образом, когда Боткин находился в апогее своей деятельности, когда умственная и нравственная его энергия поражали своей молодостью и Россия могла ожидать от него еще много неопределимых ученых, преподавательских и общественных услуг, физическое его здоровье стало заметно расстраиваться и внушать опасения его семье и друзьям. Как ни был крепок его организм от рождения, однако вследствие каких-то причин и вероятнее всего постоянной, чрезмерной умственной работы, малоподвижного и чересчур сидячего образа жизни, а также пренебрежения диетой в годы молодости образцовым его признать было нельзя, так как он подвергался частым заболеваниям. Ранее было сказано о желчной колике, которая со времени пребывания в Берлине преследовала его всю жизнь то в форме острых болевых приступов с более или менее продолжительными перерывами, то в форме тяжелого желудочного несварения. Это обстоятельство под страхом повторения жестоких болей заставляло его быть осмотрительнее и строже соблюдать необходимые гигиенические правила. Так, в употреблении пищи и вина он не выходил из рамок умеренности, склонности же к полноте как последствию сидячего образа жизни старался противодействовать во время летнего отдыха большими прогулками пешком или верхом, а зимой давно взял себе за правило отпускать с последней консультации экипаж и возвращаться домой к обеду пешком, – и его каждый день можно было встретить в седьмом часу вечера быстро идущим по улице своей раскачивающейся походкой с заложенными за спину руками с тростью, всегда с задумчивой опущенной головой и рассеянно отвечающим на поклоны многочисленных знакомых. Этими мерами и частыми поездками в Карлсбад и на морские купания его здоровье поддерживалось весьма удовлетворительно, – и только история с «ветлянской» чумой впервые вывела его нервную систему из того замечательного равновесия, в каком она всегда находилась и к которому с тех пор более не возвращалась, – и весьма возможно, что доктор Н. И. Соколов прав, относя к этому времени начало сердечного расстройства

Боткина.

В 1882 году, в разгар зимних занятий, впервые случился у него сильный приступ стенокардии в форме мучительного стеснения в груди и удушья, продолжавшихся трое суток, которые он провел неподвижно в кресле. Случись такой припадок с кем-нибудь из его пациентов, Боткин придал бы ему, наверное, очень важное значение, посоветовал бы прекратить чрезмерные занятия, поехать в места с теплым климатом и тому подобное; мы уже не говорим о том, что врачам самим свойственно по роду их знаний и занятий преувеличивать значение собственных болезненных припадков и обращать на них не в меру много внимания. Но Боткин, чуждый всякого субъективизма и поглощенный заботами о здоровье других, отнесся и тут очень своеобразно к болезненной перемене в своем организме, – и этим как бы оправдал на себе то определение гениальности, какое дал ей Шопенгауэр, а именно, что это есть способность при служении идее своими познаниями совершенно упускать из виду собственный интерес и собственные цели. Как только ему стало легче и явилась возможность двигаться, он тотчас поехал в клинику, с визитами к больным, приписав собственный припадок временному нервному расстройству сердца под влиянием присутствия камней в желчном пузыре и думая легко поправить свое нездоровье на свободе во время летнего отдыха. Как раз с этого года он стал уезжать на лето в Финляндию на купленную им мызу в трех-четыре часа езды от Петербурга, – и такое удаление его от столицы и от больных давало ему значительно больше досуга, который он стал употреблять на длинные прогулки, разные мускульные работы, занимаясь, например, и обыкновенно вместе с семьей, то уборкой сена, то поливкой обширного сада и т. п. Ему как домовитому семьянину эта идиллическая жизнь в тесном кругу семьи в противоположность его городской суете теперь так пришлась по вкусу, что он прожил несколько каникул подряд в этом финском имении и, нравственно удовлетворяясь таким отдыхом, находил, что здоровье его значительно поправилось, хотя приступы стенокардии продолжали повторяться, но редко и в более легкой форме.

В одно из этих пребываний в Финляндии, именно в начале июля 1886 года, в его семье случилась беда: умер пятилетний сын, которого он боготворил, и умер так быстро, что отец не был готов к такой внезапной потере, а потому горе его не имело границ. Чтобы показать глубину родительской нежности к умершему малютке, приведем небольшой отрывок из письма Боткина, написанного им вскоре после постигшего его несчастья. Рассказав о некоторых загадочных мозговых явлениях,

подмеченных еще за год до смерти не по летам развитого ребенка, он продолжает: «...мы с женой чуяли беду; не высказывая друг другу своих опасений, мы только все более и более привязывались к этому гостю между нами. Постоянное чувство страха за его жизнь было так сильно, что я не мог встретить ни одного гроба ребенка, чтобы не вспомнить о Ляле; в прогулках при виде ямы или колодца первую мою мыслью было, где Ляля, как бы он не попал в колодец и т. п. Всю зиму он провел в нашей спальне, и при первом его движении ночью то я, то мать были около него, – и сколько любви, сколько сердца давал он нам за это внимание! сколько нежных, милых слов умел он сказать мне и маме, сколько теплоты умел выразить в течение своей короткой жизни! И от всего этого остались одни только воспоминания!»

Под влиянием этого нравственного потрясения у Боткина тотчас же возобновились приступы стенокардии, сначала в легкой форме, но вскоре разразились сильнейшим припадком, продолжавшимся пять дней, после которого он долго не мог восстановить прежние силы. Когда же, поправившись, Боткин во второй половине сентября переселился в Петербург, знакомые, не выдавшие его с весны, были поражены происшедшей в нем переменой: он сильно поседел и постарел, и душевное, глубоко затаенное горе, несмотря на самообладание и желание казаться спокойным, беспрестанно выдавало себя то дрогнувшим в разговоре голосом, то временным выражением тяжелой тоски на лице; в семье также стали замечать некоторую раздражительность, не свойственную его обыкновенно ровному, миролюбивому характеру.

К лекциям он приступил со страхом, что у него не хватит сил на дорогое ему дело, и первые две недели ему пришлось вести их с большими усилиями и напряжением, впервые сидя, а не стоя, как бывало прежде, но мало-помалу он втянулся и не только довел семестр благополучно до конца и не пропустив ни одной лекции, но не убавил при этом нисколько и своих других внеклинических занятий. Как ни трудно было Боткину признать себя больным, как ни старался он объяснить свои припадки присутствием желчных камней, все поджидая, что ущемившийся камень вот-вот проскочит и его прежде прекрасное самочувствие снова сразу восстановится, однако в 1887 году он наконец решился изменить своей семилетней безвыездной жизни в России и отправиться на морские купания в Биарриц, хотя и тогда уже близкие ему врачи предупреждали, что купания эти едва ли ему могут принести пользу, что, напротив, с ними надо быть осторожным, особенно после того, как незадолго до выезда из России у него открылось легочное кровотечение, правда, небольшое. И

действительно, первая же попытка выкупаться в море вызвала такое сильное удушье, что продолжать далее купания было невозможно, – и он надумал заменить их холодными душами, благоприятный эффект которых на первое время ему показался чудотворным. О его тогдашнем настроении лучше всего свидетельствует следующее место его письма из Биаррица от 20 октября 1887 года: «...я еще ни от одного средства не видал на себе ни разу такого блистательного действия, как от душей; не могу передать того ощущения счастья, когда я почувствовал себя освобождающимся от каких-то пудов, которые давили меня и душили немилосердно; теперь я хожу совершенно свободно и даже после сытного обеда могу подниматься в гору; сон, кашель, аппетит – все стало лучше. Я потому и не писал тебе так долго, что не мог сообщить ничего утешительного. Проехать через всю Европу с надеждой найти облегчение в купаниях – и так оборваться сразу, чувствовать над собой постоянный гнет от невозможности двигаться свободно, чувствовать и осязать начинающееся разрушение своего тела – все это ложилось до такой степени тяжело на мое нравственное настроение, что делиться этим с друзьями не хотелось. Теперь я снова стал человеком, и мне настолько лучше, что с удовольствием подумываю о будущей зиме в Петербурге».

Таково уж было свойство этой рабочей природы: чуть только перемежались его мучительные припадки, и ему дышалось свободнее, мозг его начинал работать усиленно, как бы стараясь вознаградить себя за упущенное время, в голове зарождались новые вопросы и планы новых работ, решение которых ему хотелось найти немедленно, проверить и разработать в клинике, – и он страстно стремился поскорее домой, к своему делу. Так и теперь. Едва его самочувствие стало лучше, он покинул Биарриц, около 15 ноября переехал в Париж и бесповоротно решил вернуться в Петербург, вопреки увещаниям и советам друзей, видевших, что облегчение это было временное, непрочное и, скорее, субъективное, так как деятельность сердца оставляла желать лучшего и приступы удушья при ходьбе возобновлялись беспрестанно. Но Боткин не хотел признавать себя больным, старался по возможности скрыть приступы от самых близких людей, чтобы избежать их тревожных советов, – и силой своей огромной воли добился того, что, несмотря на совсем пошатнувшееся здоровье, провел около трех недель в Париже в такой хлопотливой деятельности, которая могла бы измучить и свалить с ног самого здорового человека. С раннего утра он принимался за осмотр многочисленных парижских больниц, посещал лекции и перезнакомился со всеми клиницистами внутренних болезней, со стороны которых встретил самый почетный

прием; так, между прочим, профессор Шарко объявил студентам на лекции, на которую сам привез Боткина, о его присутствии в таких лестных выражениях, что аудитория огласилась сочувственными рукоплесканиями. Большинство профессоров устраивало в честь его банкеты, от которых невозможно было отказаться, и редкий день он мог отдохнуть и спокойно пообедать в кругу своей семьи и близких. Чтобы дать приблизительное понятие об этих церемониальных банкетах, воспользуемся коротким описанием одного из них, сделанным Боткиным в письме из Парижа: «... обед у профессора Germain See хотя и был порядочно скучен, но, тем не менее, весьма интересен. За парадным столом сидели 24 человека приглашенных, посредине его стояла корзина цветов, украшенная русским и французским флагами; меня посадили около хозяйки дома, хозяин сидел с Жюлем Ферри; врачей почти не было, а были два члена Академии наук, астроном и математик, редакторы газет Debats и Liberté, адмирал-генерал, какой-то чиновник президента Гриви; за обедом общего разговора не было, а больше пробавлялись беседами с соседями. В конце обеда был сказан любезный тост за мое здоровье, к счастью, без политических намеков, – и только после стола ко мне подошел Ж. Ферри с политическим разговором, в котором он старался познакомить меня со своими взглядами на высшую политику. Разговора этого не передаю, ты сам можешь очень хорошо представить, зная Ферри лучше меня». Видя Боткина в этой лихорадочной суете парижского дня, поделенного с утра до вечера между внимательным изучением клиник и более или менее утомительными обедами с их изысканными блюдами и тонкими винами, слушая, с каким увлечением и живостью по возвращении лишь поздно вечером домой передавал он в подробности все малейшие свои впечатления, никому бы в голову не пришло, что это человек, на которого неизлечимый недуг наложил свою руку и обрек на неизбежную смерть.

И он не только прекрасно, по крайней мере по субъективному ощущению, перенес поездку в Париж, но, вернувшись в Петербург, провел всю зиму в непрерывных занятиях, ни на волос не уменьшив их, хотя доктор Н. И. Соколов следующей весной при исследовании нашел, что болезнь продолжала прогрессировать. Все лето 1888 года прошло для него худшим образом, чем зима; притом тяжело заболела одна из его девочек, а мы уже знаем, какой он был нежный и страстный отец, и понятно, что продолжительная тревога за жизнь ребенка не могла не действовать неблагоприятно на больное сердце, да к тому же эта болезнь заставляла постепенно откладывать предполагаемый выезд за границу. Наконец, когда для девочки прошла опасность, наступил сентябрь, ехать в Биарриц было

поздно, и он надумал отправиться в Константинополь на Принцевы острова покупаться в Мраморном море и, если ему не станет лучше, проехать в Египет. Но на этот раз с купанием вышло гораздо удачнее, удушье случалось с ним гораздо реже и стало менее мучительным; он почувствовал себя бодрее и получил возможность споро двигаться, а это укрепило его в убеждении, что сердце его здорово и приступы удушья происходят только от чрезмерной возбудимости сердечных нервов. С улучшением самочувствия к нему тотчас вернулась вся его деятельная энергия, и он, воспользовавшись перерывом в купаниях вследствие плохой погоды, на неделю перебрался с Принцевых островов в Константинополь и принялся за изучение военно-медицинской школы и за осмотр больниц – с тем же вниманием и с тою же любознательностью, как годом раньше в Париже.

Последняя зима его по возвращении домой прошла со стороны внешней деятельности вполне безукоризненно, без малейшего послабления ее в пользу болезни: кроме занятий по клинике, по частной практике, помимо наблюдений за барачной и другими городскими больницами, а также новой научной работы в богадельне, упомянутой выше, Боткин был в числе организаторов третьего съезда врачей, являясь не только на дневные, но и на вечерние его собрания. Клинику свою он вел со всегдашним своим рвением и увлечением: «Мой учебный сезон я провел хорошо и, окончив его, даже не чувствовал усталости; бывало, поедешь в клинику, прочтешь лекцию и освежишься иногда на целый день», – говорит он в письме от 6 апреля 1889 года из Петербурга. Страсть к преподаванию до того подавляла в нем телесную немощь, что он сам старался словно бы не замечать, как приступы стали захватывать его и во время лекций. А между тем зоркий и заботливый глаз его старшего сына-доктора, дрожавшего за жизнь отца и в качестве ассистента постоянно присутствовавшего на его лекциях, – неоднократно подмечал, как в пылу увлечения преподаванием у отца делался приступ стенокардии, как он бледнел, голос становился глуше и прерывистее от спазматического дыхания, рука постоянно вытирала выступавший на лбу крупными каплями пот; но мощная сила воли быстро покоряла эту слабость сердца, и голос лектора снова как ни в чем не бывало продолжал громко, твердо и уверенно развивать свою мысль перед слушателями, которые и не предполагали, какие мучительные мгновения только что пережил их профессор. По окончании же учебного семестра, когда лекции, этот главный возбудитель его нравственной энергии, прекратили свое оживляющее влияние, и Боткин получил возможность более внимательно отнестись к своей болезни, он не мог не заметить

ухудшения, но причину учащения приступов стенокардии старался объяснить то желчекаменной болезнью, то отравлением организма никотином, после чего прекратил курить.

Выехал он в это лето несколько раньше за границу и отправился сначала в городок Тун в Швейцарии; здесь Боткин хотел было в виде лечения попробовать методические прогулки в горы. Но так как наступал уже конец августа, а с ним установилась свежая и сырая погода в Бернском кантоне, то он на первых порах почувствовал себя так нехорошо, что оставил этот план, и тут нередко стали на него находить минуты сомнения в полном своем выздоровлении. Особенно тяжела была для него мысль, что ему придется отказаться от клинического преподавания, однако и с ней он стал примиряться и убаюкивать себя надеждой, что взамен клиники он откроет курсы для врачей в одной из городских больниц. Невыразимо тяжело и больно было видеть, как этот мощный и по наружному виду здоровый человек, в полном расцвете своих необыкновенных умственных способностей, с его неутомимой жаждой деятельности, постоянно погруженный в обдумывание планов будущих работ, имевших в виду всегда или научные, или общественные и никогда не личные цели, вдруг вынужден был вспомнить о своем недуге и сознавать, что недуг этот сковал его, как цепи, и обрекает на неподвижность и бездействие. Все помыслы его в это время были устремлены на то, как бы поскорее вернуться в Петербург к любимым занятиям, хотя он с каждым днем все больше и больше убеждается, что при таком состоянии ему вернуться невыносимо, что предварительно надо немного поправиться, – и вот он лихорадочно начинает метаться по Европе, стараясь отыскать такое место и такие благоприятные климатические условия, которые дали бы поскорее эту возможность возврата домой, избавив хоть немного от угнетающего его удушья. Через Париж, где он находил еще в себе достаточно сил, чтобы бегло осмотреть Всемирную выставку и прийти в восхищение от грандиозного изящества Эйфелевой башни и павильона машин, он едет в Аркашон, и по мере того как ему становится все хуже и хуже, меняет его на Биарриц, потом на Ниццу и наконец, после десятидневного пребывания в последней, переезжает в Ментону. Между тем сердечные приступы продолжали усиливаться и стали одолевать его так, что в Ницце, например, он все ночи проводил в кресле, не будучи в состоянии заснуть в постели.

Переехав в Ментону, Боткин подверг себя молочной диете, и под влиянием ее ему сделалось заметно лучше: он снова стал спать в кровати, мог гулять по набережной и доходить до общественного сада, где, усевшись на скамейку, слушал музыку и наблюдал за гуляющей публикой.

До 18 ноября он продолжал принимать у себя осаждавших его больных, но с этого дня заметил, что осмотры эти сильно утомляют его, и прекратил их. Молочная диета через 10 дней так ему опротивела, что он не хотел ее продолжать и, хотя не отрицал полученного облегчения, но относился к нему с недоверием, боясь вызвать усиленным употреблением молока припадки желчной колики. Он так упорно настаивал на собственном диагнозе своего заболевания, что никакими увещеваниями нельзя было уговорить его испытать лечение, направленное непосредственно на укрепление сердечной деятельности: все такие уговоры его только раздражали, и врачам, наблюдавшим за ним и ясно видевшим, что болезнь зашла так далеко, когда на сердечную терапию рассчитывать было поздно, ничего не оставалось, как предоставить ему самому распоряжаться своим лечением. Однажды под влиянием этих увещеваний Боткину захотелось самому выслушать свое сердце; пришлось ему дать стетоскоп, изобретенный для самовыслушивания, и он, послушав недолго, но с большим вниманием, отдал поспешно инструмент обратно со словами: «Да, шумок довольно резкий!» – и с тех пор больше не повторял такого самоисследования. Несомненно, что по временам он сам сознавал возможность «самостоятельной» болезни сердца, но гнал эту мысль поскорее прочь как неразрывно связанную если не со смертью, то с таким положением инвалида, с каким он не мог примириться ни в силу деятельного состояния своего мозга, ни в силу своей страстной привычки к труду, ибо подобное положение было для него хуже смерти. Настаивая на лечении желчекаменной, он однажды прямо выразился: «Ведь это моя единственная зацепка; если у меня самостоятельная болезнь сердца, то ведь я пропал; если же оно функциональное, отраженное от желчного пузыря, то я могу еще выкарабкаться».

После прекращения молочной диеты удушья особенно по ночам снова стали так мучительны, что 27 ноября Боткин сделал первое подкожное впрыскивание морфия, произведшее на него самое приятное впечатление долгим перерывом удушья и таким освежающим сном, что, проснувшись назавтра, он чувствовал себя необыкновенно бодрым, не хотел верить в серьезность своей болезни и снова заговорил об академии и о лекциях; но в тот же день за общим семейным обедом во время кашля у него открылось довольно обильное кровохарканье как следствие свежей закупорки легочных сосудов из-за ослабления сердечной деятельности. С этого времени Боткин слег окончательно в постель и только первые дни выходил на полчаса в гостиную, покуда делалась уборка спальни, а впоследствии перебирался на короткое время в кресло в той же комнате и полулежал,

обложившись подушками. Начиная предвидеть возможность смерти, он вызвал из Петербурга брата-художника, всех взрослых сыновей и замужнюю дочь с зятем – доктором Бородулиным – и был чрезвычайно обрадован свиданием с дорогими ему людьми. Надежда, однако же, не покидала больного, и ввиду настойчивого его желания был приглашен из Бирмингема известный английский хирург Лаусон Тэт (Lawson Tait), прославившийся целой серией блестящих и удачных удалений желчных камней оперативным путем. Лаусон Тэт приехал в Ментону 15 декабря и, исследуя, довольно ясно прощупал камень, ущемленный в одном из желчных протоков; но сделать операцию решительно отказался по причине большой вялости сердечной мышцы. Для Боткина отказ этот был равнозначен смертельному приговору, хотя не вызвал в нем никаких проявлений отчаяния или угнетения; с этого дня он как бы махнул рукой на все и с мужественным спокойствием отдался роковому течению болезни, был по-прежнему нежен и кроток со всеми окружающими и в минуты, свободные от страданий, еще находил истинное наслаждение, лежа у открытого окна, любоваться южным безоблачным небом и чудными красками Средиземного моря. Теперь окружающим уже не составляло никакого труда уговорить его посоветоваться со знаменитым немецким профессором Куссмаулем, который по приглашению немедленно приехал из Гейдельберга 19 декабря; но ухудшение шло так быстро, что даже задержать смертельный исход не представлялось никакой возможности. И он наступил 24 декабря 1889 года днем, в половине первого, после беспокойной ночи, сопровождавшейся бредом, попытками соскакать с постели и тому подобным. С 7 часов утра началась агония, и смерть унесла с земли своего непримиримого врага, вся жизнь которого, как мы видим из этого краткого и далеко не полного описания ее, была посвящена исключительно борьбе с болезнями человечества, – и унесла в таком периоде этой жизни и в таком полном развитии его умственных и нравственных сил и дарований, что он мог бы еще много лет служить живым образцом русского гения и плодотворно работать на благо родины, науки и больных.

Мы считаем слишком «специальным» вдаваться здесь в подробный результат вскрытия тела умершего; желающие ознакомиться подробнее найдут полный отчет о нем в статье Н. И. Соколова «История болезни С. П. Боткина», помещенной в первом и втором номерах «Больничной газеты Боткина» за 1891 год. Скажем только коротко, что при вскрытии найдено, как это и было распознано при жизни, весьма значительное жировое перерождение сердечной мышцы, развившееся вследствие давних

известковых отложений в венечные артерии и весьма суживавших их просвет, отчего приносимой по ним крови поступало недостаточно для нормального питания сердца; ткань печени почти не представляла болезненных изменений, в желчном пузыре найдено множество свободно лежавших в нем мелких желчных камней, так что присутствие их не имело существенного, первенствующего значения в конечных фазисах болезни, убившей Боткина, и удаление их оперативным путем не могло бы ни продлить его жизни, ни тем более излечить его.



***Сергей Петрович Боткин. Академик П. П. Кончаловский. Карандаш.
1900.***

Что Боткин составил неправильное представление о собственной болезни, конечно же, не может умалять его достоинства как превосходного и безукоризненного диагноста, а проистекает из тех свойств человеческой природы, по которым никто не может быть судьей в своем собственном деле

и в силу которых ни один врач при серьезном заболевании никогда не может лечить самого себя. Остается ответить еще на один возможный вопрос: можно ли было спасти Боткина, если бы он подверг себя своевременно должному лечению? Но это – вопрос праздный, потому что ответ на него не может быть дан точный, а только более или менее гадательный, так как в предсказании и лечении больных абсолютных истин нет. Возможно, если бы при первых проявлениях сердечного расстройства, то есть примерно в 1882 году, Боткин подчинился бы тому режиму, какой он непременно предписал бы всякому больному, обратившемуся к нему за помощью при подобных болезненных приступах, его жизнь могла быть продлена; но это такой режим, которого ни по характеру всей предшествовавшей деятельности, ни по своей натуре и особенно по деятельному состоянию своего мозга Боткин решительно не в состоянии был бы вынести. Для этого прежде всего потребовалась бы полная перемена образа жизни, уклонение от всяких волнующих его занятий, обречение себя на бездействие, – и Боткин был бы не Боткин, если бы он согласился на такие требования.

notes

Примечания

1

характер болезней (*лат.*)

«А все-таки вертится!» (*ит.*)